

Морская летопись



КОМАНДОРЫ ПОЛЯРНЫХ МОРЕЙ



Николай Андреевич Черкашин
Командоры полярных морей
Серия «Морская летопись»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654136
Командоры полярных морей / Н.А. Черкашин.: Вече; Москва; 2014
ISBN 978-5-4444-1841-3, 978-5-4444-8216-2

Аннотация

Документально-художественные исследования известного писателя-мариниста Николая Черкашина переносят нас в мир полярных первопроходцев России. В первой части книги в остросюжетной форме излагается история последнего великого географического открытия XX века – обнаружение экспедицией Бориса Вилькицкого Северной Земли.

Вторая часть посвящена экспедиции барона Толля к загадочной Земле Санникова. Главный герой – офицер-гидрограф лейтенант Александр Колчак, ставший позже Верховным правителем России.

Действие раздела «Одиссея капитана Кондора» разворачивается также на Русском Севере – только в годы Великой Отечественной войны.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями. Некоторые из них публикуются впервые.

Содержание

Кортик командора	4
Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	16
Глава четвертая	21
Глава пятая	26
Глава шестая	33
Глава седьмая	37
Глава восьмая	41
Глава девятая	44
Глава десятая	55
Глава одиннадцатая	66
Глава двенадцатая	70
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Николай Черкашин

Командоры полярных морей

*Посвящается командующему Северным флотом адмиралу
Вячеславу Алексеевичу Попову*

Кортик командора

*В мирное время эта экспедиция возбудила бы весь
цивилизованный мир.*

Руаль Амундсен

*Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...*

Николай Языков

Под глыбой льда холодного Таймыра..

Алексей Жохов

Московские экспрессы на Минск, Брест, Варшаву, Берлин проходят Оршу, как правило, поздней ночью... Если, выглянув невзначай в вагонное окно, вы увидите на оршанском перроне белую фигуру в истлевшем флотском кителе – не пугайтесь. Это призрак последнего командира «Вайгача» вышел пожелать доброго пути тем, кто помнит его имя, стертое с карты Арктики...

Глава первая

Пустяковое дельце для абвера

Берлин. Июль 1990 года

Тогда я еще не знал, что его зовут Фабиан Рунд. Корветтен-капитан¹ Фабиан Рунд...

Просто мы оба спешили на одной и той же набережной в один и тот же день к одному и тому же человеку: я – московский литератор и он – Фабиан Рунд, сотрудник абвера.

Мы пересекали одно и то же пространство, но с разрывом в полвека. Разумеется, у Рунда в его 1939 году были все шансы застать дома бывшего капитана 1-го ранга русского императорского флота Новопащенко, но не у меня в моем девяностом. По самым скромным подсчетам, Новопащенко было бы сейчас лет сто двадцать. Но я все равно упорно разыскивал дом № 18 на Шёнебергской набережной.

Берлин. Лето 1939 года

В один из знойных дней берлинского лета в кабинете адмирала Канариса, главы всемогущего абвера, раздался телефонный звонок главнокомандующего военно-морскими силами Германии гросс-адмирала Редера.

Редер. Хайль Гитлер!

Канарис. Хайль!

Редер: Вилли, одно небольшое дельце... Мне стало известно, что в Берлине живет кто-то из русских эмигрантов, участник арктических экспедиций адмирала Колчака... В свое время он заснял на пленку обширнейший участок совершенно необследованного побережья Русского Севера – приметные мысы, бухты и прочее. Нам нужен его фотоархив. Есть сведения, что он вывез его с собой.

Канарис: Насколько надежен источник сведений?

Редер. Он так же надежен, как и вся ваша контора. Это наш... это ваш военно-морской атташе в Москве капитан цур зее² барон Баумбах.

Канарис. Хорошо. Найдем Приятно в такую жару остудить мозг мыслями об Арктике.

В том году мысли о полярных льдах студили многие умные головы в Берлине. В германских штабах ясно понимали, что война с Англией неизбежна и война эта будет, прежде всего, морской. А раз так – нужны передовые базы флота в Северной Атлантике, в Западной Арктике. О том, чтобы базироваться в портах Норвегии, приходилось пока что мечтать. При всем своем нейтралитете норвежцы настроены весьма пробритански. Но есть Новая Земля, есть Кольский полуостров, и есть весьма податливое большевистское правительство в Москве, которое обещало подыскать «базис норд» – «северную базу» для германских рейдеров если не в самом Мурманске, то неподалеку от него. Спустя полмесяца после начала войны, 17 сентября 1939 года, в Мурманск тайно вошли два немецких транспорта с грузами для будущей базы. Взамен Берлин обещал продать Советскому Союзу недостроенный тяжелый крейсер «Лютцов». С захватом Норвегии проблема базирования на советском Севере снялась сама собой. Но резко повысился интерес к Северному морскому пути – стратегической трассе, наикратчайше связующей океан Атлантический с Тихим океаном. Начало Второй мировой войны застало 35 немецких торговых судов в нейтральных портах Юго-Восточной Азии. Этот гигантский караван Редер, заручившись согласием Молотова, рассчитывал провести в Европу безопасным от англичан путем – меж скал сибирского побережья

¹ Капитан 3-го ранга.

² Капитан 1-го ранга.

и кромкой полярных льдов – путем, разведанным и проложенным гидрографами русского флота еще в Первую мировую и вполне освоенным советскими ледоколами.

К тому же по нему можно было перебрасывать рейдеры в Тихий океан и там охотиться на торговых трассах союзников. Таким образом, «фотографическая лодка» северных берегов Сибири становилась документом стратегической важности.

Берлин. Июль 1990 года

Боже, как же хотелось есть! Такого голода я не испытывал со студенческих времен, когда решился плыть из Ростова в Москву теплоходом, имея на 12 дней 87 копеек... Но по сравнению с моим нынешним положением это были деньги. По крайней мере, я мог покупать хлеб – полбуханки в сутки. В Берлине у меня не было и пфеннига. А батон хлеба здесь стоит две с половиной марки. Астрономическая сумма для советского туриста, рискнувшего приехать в эти дни в исчезающую ГДР.

Получилось так мои знакомые берлинцы прислали мне приглашение. Время поездки совпадало с объединением Германии. Все бы хорошо, но Госбанк СССР вдруг объявил, что граждане, выезжающие до 26 июня, должны вернуть обмененные ими марки ГДР. Никаких обменов их на марки ФРГ, даже символических – на телефон, трамвай – не обещалось. И вообще, недвусмысленно давалось понять, что сейчас в Германию советским гражданам лучше не ехать.

Я законопослушно вернул упраздняемую валюту, стараясь не вспоминать, сколько часов (32!) пришлось отстоять за ней в очереди, отбил друзьям в Берлин телеграмму о том, что приехать не смогу, и на другой день отправился сдавать железнодорожный билет. И вот тут сердце дрогнуло. Не то чтобы стало жалко потерянного в очередях к интуристовской кассе времени (приходил на Большие Каменщики к пяти утра с термосом, бутербродами, книгами и раскладным стульчиком – и так три дня). А просто подумал: ну вот, в кои-то веки могу стать свидетелем настоящего исторического события и не стану из-за каких-то жалких марок. В конце концов, не за тряпьем же еду? Как-нибудь продержусь у друзей на бутербродах. Десять дней не срок, и я дал вторую телеграмму: «Ждите. Еду».

И приехал. И влип. Этой, второй, телеграммы друзья не получили (она придет почему-то спустя неделю после моего отъезда) и укатили в Лейпциг на недельку к родителям. Об этом мне сообщили соседи. Так я оказался во взбудораженном Берлине без кроватки над головой и без единого пфеннига. Конечно, можно было бы немедленно закомпостировать обратный билет и отправляться в Москву. Но... Я решил продержаться семь дней до возвращения друзей.

Тщательная ревизия багажа и карманов показала, что довольствоваться мне придется четырьмя кусочками вагонного сахара да начатой пачкой грузинского чая.

К тому же надо решить проблему с жильем. Я отправился на Унтер-ден-Линден, в наше посольство. Но там царил полное смятение, все гадали о дальнейшей судьбе учреждения: кого отправят на Родину, а кому посчастливится остаться... Гостеприимство соотечественников в этом роскошном офисе дворцового типа дальше чашки чая с немецким печеньем не пошло. Не до меня, и не до таких, кто оказался в подобной же ситуации; а их в тот бурный июль, как я смог вскоре убедиться, было немало.

Впрочем, все эти житейские дела отошли на второй план, как только я узнал, что открыли границу с Западным Берлином, и, хотя советским гражданам не рекомендовалось ходить в ту часть города, я немедленно ринулся в доселе запретный западный мир.

Берлин. Лето 1939 года

Германский флот готовился к сражениям на всех океанах. В том числе и в «океане без кораблей», как называли тогда Северный Ледовитый, где и в самом деле что парус, что

дымок паровой трубы были великой редкостью. Готовился серьезно и основательно; что-то, а предусматривать каждую мелочь германские штабисты умели.

«Ряд сведений географического, исторического, военного и экономического порядка, — отмечал знаток германских спецслужб Луи де Йонг, — накапливался немецкой разведкой благодаря связям с такими учреждениями, как Немецкий институт по изучению зарубежных стран (Deutsche Ausland-Institut), а также такими крупными немецкими фирмами, как “И.Г. Фарбен”, “Крупп”, “Цейсс”, “Рейнметалл-Борзиг”».

Мозг германского Молоха жадно требовал информации. И чтобы утолить этот информационный голод, в ход шло все — статистика старых биржевых журналов, обзоры технических рефератов, туристические путеводители, расписания поездов, открытки с видами ландшафтов и даже любительские пляжные снимки. Разглядывая на них фигурки стоящих в воде купальщиков, специалисты определяли уклон морского дна, беря за масштаб средний человеческий рост. А уклон дна — это уже военно-географическая информация, столь важная для высадки морского десанта.

В системе абвера действовал хорошо налаженный «информационный конвейер», который добывал страноведческие данные, анализировал их, хранил и выдавал по первому требованию родов войск для подготовки военных операций любого масштаба — от высадки диверсионной группы с борта яхты в какой-нибудь безвестной бухточке до массированного вторжения на Британские острова.

«За пределами Германии представители управления разведки и контрразведки имелись в большинстве немецких посольств и дипломатических миссий, — фиксировал Луи де Йонг, — к началу войны во всей системе управления насчитывалось 3–4 тысячи офицеров, которые должны были добывать сведения военного, экономического и политического характера».

Апофеозом германской разведки стало создание специального научно-информационного центра с кодовым названием «Раумкоппель».

* * *

РУКОЮ ИСТОРИКА. «Раумкоппель», — пишет известный в ФРГ историк Кайус Бекер, — начал свою работу в здании бывшей школы в Шёненберге (Мекленбург). Деятельность этого «научного центра» осуществлялась, в полной тайне. Никто даже не подозревал, что эти совсем не по-военному выглядевшие господа в штатском имели отношение к тому самому соединению «К», к которому принадлежали отчаянные бойцы-одиночки: боевые пловцы, водители человекоуправляемых торпед, взрывающихся катеров и прочие смельчаки. Более того, своей тщательной подготовительной работой эти люди решающим образом способствовали успеху многих диверсионных операций.

Возглавлял «научный центр» д-р Конрад Фоппель, служивший в течение многих лет хранителем Лейпцигского музея страноведения. В его подчинении находился целый ряд способных географов, геологов, океанографов, метеорологов и математиков. Источником, откуда они черпали свои удивительные познания, которые распространялись, почти на любой участок европейского побережья, была прежде всего библиотека, содержащая около 30 тыс. книг частично специального, частично популярно-повествовательного (например, путевые записки и та) характера, свыше 250 тыс. карт, 50 тыс. фотографий и огромное количество географических или имеющих отношение к географии журналов из всех стран мира. Кроме того, «научный центр» имел своих картографов, печатников, переплетчиков и большую фототехническую лабораторию, благодаря чему собранные научными сотрудниками данные могли быть в короткий срок размножены и переданы соединению «К» в любой удобной для него форме.

Первое задание, которое было поручено «Раумкоппелю», гласило:

«Дать точную картину (с описанием, картами, фотоснимками) северного побережья острова Корсика. Указать несколько таких безлюдных мест, где бы яхта с осадкой 2 м могла вплотную подойти к берегу и высадить наших людей. Наметить удобные маршруты движения в глубь острова».

После 20 часов напряженной работы «Раумкоппель» с точностью часового механизма «выдал» все источники, содержащие ответы на поставленные вопросы. К этим источникам относились десятки книг с описаниями берегов, отчетов исследователей, карт, снимков рельефа и целый ряд новейших номеров географических журналов, которые вымывались через нейтральные страны. Подлинное искусство заключалось в том, чтобы из этой горы материалов и многочисленных, часто противоречивых сведений за период в 50 лет выбрать то, что было действительным на сегодняшний день и представляло ценность для выполнения поставленной задачи, и сформулировать все это в форме кратких, но ясных разработок.

«Мы придавали большое значение тому, – рассказывает д-р Фоппель, – чтобы в каждой отдельной разработке дать четкое представление о пределах своих знаний. Люди, которые при выполнении задания руководствовались нашими данными, должны были безусловно верить тому, что мы утверждали наверняка. Те данные, которые мы считали полезным указать, но не были уверены на сто процентов в их достоверности, мы сопровождали необходимыми оговорками и вопросительными знаками».

Меньше всего чудо-центр доктора Фоппеля мог информировать ОКМ³ о Северном морском пути.

– Это самая засекреченная морская трасса на планете! – оправдывался доктор Фоппель всякий раз, когда из ведомства Редера раздавались упреки на этот счет. – Большевики не сообщают в открытой печати никаких навигационных данных о ней, ибо этот единственный торный путь в непроходимом океане имеет для Советов стратегическую важность. По нему можно перебрасывать военные корабли как с Дальнего Востока на Крайний Север, так и в обратном направлении – из Северной Европы в азиатские моря. Причем перебрасывать скрытно и неуязвимо для любого противника.

Да, эта тоненькая голубая прожилка во льдах обладала для России важностью вены, закольцовывавшей сеть транспортного кровообращения в единую систему. Вместе с артериями сибирских рек она питала и обещала питать еще лучше весь заиндевелый и пока что почти безжизненный северо-сибирский горб гигантской страны. Вот почему она называлась Великой национальной магистралью, и все путепроходческие, мореплавательские секреты ее содержались в такой же тайне, в какой афганские горцы хранят перевальные тропы, а индейцы – сокровенные пути через сельву к древним святыням.

Не всякий корабль проскочит «гильотины арктических льдов». Во все века непосвященные смельчаки расплачивались за дерзкие попытки жизнями – своими и кораблей.

Если в страшном сне представить себе дорогу, которая вдруг хватает путника за ноги и обрекает его на мучительную смерть от голода, холода и цинги, то это и будет Великий северный путь между тундрой Сибири и кромкой льдов Арктики.

Порой он бывает милостивым и пропускает всех. Но вдруг захлопывает свои ледяные капканы и держит суда почти по году. По нему надо иметь счастье проскочить в кущее лето, пробиться, если льды все же запрут анфилады сибирских морей; надо знать, как выжить здесь, если пробиться не удалось. Мало знать, как перезимовать полярную полугодичную ночь, надо уметь спастись, если льды все же раздавят вмерзший в них корабль и выживать придется на голых льдинах.

Проскочить, пробиться, выжить, спастись... Только ледовые капитаны и лоцманы Севморпути обладали этим уникальным опытом. Всякий опыт – это много информации, немного

³ ОКМ – Oberkommando der Marine – Главное командование ВМС гитлеровской Германии.

интуиции и чуток везения, и еще раз информация. Всякая информация может быть уловлена, перехвачена, добыта, накоплена... На этом стоял абвер, как, впрочем, и любая другая разведка мира.

Разумеется, кое-что о русской Арктике в картотеках доктора Фоппеля было. Например, великолепная серия аэрофотоснимков, сделанных с борта дирижабля «Граф Цеппелин».

Этот немыслимый полет вдоль всей секретной трассы Советы разрешили в 1931 году, когда между рейхсвером и Красной Армией цвела тайная любовь: под Казанью обучались танкисты Гудериана, под Липецком – будущие асы Геринга, а на верфях Ленинграда и Николаева стажировались подводники Деница...

«Летом 1931 года, – рассказывает писатель-историк Е.Л. Баренбойм в повести «Операция “Вундерланд”», – Советское правительство разрешило с чисто научными целями полет немецкого дирижабля над Арктикой. Командовал им его конструктор Эккенер. Среди десяти ученых разных стран на дирижабле находился и советский профессор Самойлович. Полету дирижабля было оказано всемерное содействие: для него была создана особая служба погоды, в район Земли Франца-Иосифа вышел ледокольный пароход “Малыгин”, была построена специальная швартовочная мачта. За четверо суток дирижабль облетел огромную территорию Советского Севера, почти в тысячу километров длиной и шириной более сотни километров. Фотограмметристы засняли ее на киноплёнку. По договоренности материалы съемки должны были быть предоставлены нам. Но немцы заявили, что плёнка испорчена. Сейчас эти данные “исключительно научного”, как писали тогда в газетах, полета широко использовались немецкими офицерами в работе над подготавливаемым планом».

Аэрофотограммы – это вид сверху, это бесценное подспорье для летчиков люфтваффе, которые собирались прокладывать трассы в Восточную Арктику. Командирам же кораблей нужен был иной ракурс на приметные мысы, скалы и бухты – не выше уровня ходовых мостиков.

И тогда гросс-адмирал Редер позвонил Канарису на Тирпицфелер.

Берлин. Лето 1939 года

Право, это было пустячное для абвера дело – разыскать фотоархив полярной экспедиции, который счастливый случай забросил не куда-нибудь, а именно в Берлин. С этим справился бы любой сыщик из уголовной полиции.

И Фабиан Рунд прекрасно сознавал, что именно поэтому выбор шефа пал на него, самого молодого сотрудника III отдела, и это задание – еще один экзамен в его новой карьере.

Первым делом Рунд позвонил в Лейпциг – в Ausland-Institut – и заказал справку о составе русской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Спустя несколько минут он получил по телефону нужные сведения: «Русская гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) осуществляла плавания в 1910–1915 годах на ледокольных судах “Таймыр” и “Вайгач”. В последнем сквозном плавании – из Владивостока в Архангельск – экспедицию возглавлял капитан 1-го ранга Б.А. Вилькицкий. “Вайгачем” командовал капитан 1-го ранга П.А. Новопашенный. В состав экспедиции входили офицеры русского флота Транзе, Евгенов, Неупокоев, Никольский, Жохов, Давыдов, Лавров, Фирфаров...»

Рунд раскрыл «Справочник Российского общевойскового союза», нашел главу «Военно-морские объединения русских офицеров в зарубежье» и радостно потер руки: главой берлинской кают-компании был не кто иной, как бывший командир «Вайгача» калеранг Новопашенный. Здесь же указывался и его адрес Schonebergerufer, 18.

Рунд немедленно отправился – он был уверен в том – за «фотолоцией» засекреченного большевиками трансарктического пути. Да и кто, как не командир корабля, мог располагать подобными фотоснимками?

Глава вторая

Гость каперанга Новопашенного, или вид на Ревель из «Бумишерхауза»

Берлин. Июль 1990 года

На контрольно-пропускных пунктах еще стояли скучающие пограничники, но документов они уже не спрашивали; таможенные интроскопы были захвачены, поднятые шлагбаумы и расстопоренные турникеты пропускали потоки берлинцев в обе стороны. Хотелось увидеть сразу все: и фасадную сторону Рейхстага, который, подобно луне, позволял созерцать лишь один свой бок – из-за непроходимых доселе Бранденбургских ворот, и знаменитый парк Тиргартен с памятниками Гёте, Гегелю, и фешенебельную Курфюрстендамм, и русское кладбище в Тегеле...

Проблема с жильем решилась сама собой. В Тиргартене пестрело множество палаток, мимо которых шныряли дикие кролики. В палатках жили любители рока, съехавшиеся в эти дни со всего света, чтобы побывать на суперконцерте «Wall» («Стена»), где под песни знаменитых рок-звезд должна была рухнуть берлинская стена, чей гигантский макет из белого пенопласта соорудили над громадной эстрадой.

Общительные студенты из Канады нашли мне место в одной из палаток с видом на Рейхстаг.

Там, под гостеприимным чужим пологом, меня особенно донимало чувство незаслуженной обиды... От него, как в детстве, порой хотелось разрыдаться... Ну почему моей великой Родине, моему сверхдержавному государству я столь безразличен и не нужен? Почему никому в нем нет дела до того, где должен ночевать и чем кормиться его законно выехавший за рубеж гражданин, который как-никак капитан 1-го ранга запаса, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», лауреат, почетный гражданин и прочая, прочая? – Почему в кремлеверхом небоскребе на Смоленской не разрешили обменять мне и трех марок? Мне бы хватило их на буханку черного хлеба, и уже это спасло бы от голодных спазмов...

Но я еще и радовался. Радовался тому, что коротаю ночи и дни по ту сторону великой запретной черты, стены, границы, которую я пересекаю безо всяких характеристик, справок, анкет, собеседований, наставлений, предупреждений, без райкомов, месткомов и ОВИРОВ. Пересекаю, и все. И вот разгуливаю по цитадели капитализма, форпосту мирового империализма, в сердце германского милитаризма, тоталитаризма и еще черт знает чего. И лежу под палаточной крышей с ребятами из Канады, и прекрасно понимаю их, а они меня.

По утрам мы пили грузинский чай, заваренный из моей пачки, и рассуждали о перестройке, Горбачеве, гласности и тому подобных модных вещах, а потом я уходил в свои странствия по городу.

Из всей невообразимой лавины увиденного в дни берлинского скитальчества здесь важно сказать лишь об уличном антикваре. Он торговал с лотка всякой милой дребеденью начала века: кайзеровскими пивными кружками, допотопными авторучками, довоенными открытками, почтовыми марками... Я взял потертый альбомчик с коллекцией довоенных визитных карточек. Кто их собирал? Кому они теперь интересны? Пышные титулы прусских баронов, почетные звания коммерсантов, адреса акушеров, дантистов, дипломированных экономистов... Одна из них, весьма простенькая, с голубым крестом Андреевского флага, задержала взгляд. Текст был набран по-русски и по-немецки: «Кают-компания офицеров русского флота в Берлине. Председатель – капитан 1-го ранга Петр Алексеевич Новопашенный. Schonebergertifer, 18».

Наверное, только от дикого голода могла прийти в голову такая странная мысль: заявиться по этому адресу и сказать: «Господа, я не ел три дня... И вообще, мне негде ночевать. Как офицер флота нашего общего Отечества, я надеюсь получить у вас помощь и поддержку». А что? Если бы кто-нибудь был жив из той эмигрантской кают-компании, которая и существовала для того, чтобы поддерживать бывших моряков на плаву изгнаннической жизни, уж наверняка приняли бы во мне участие, пристроили бы на ночь и чаем напоили. Возможно, даже с бутербродом.

Адрес на всякий случай я запомнил и даже переписал в блокнот. Вполне вероятно, что в этом доме живут дети или внуки Новопащенного. А поговорить нам будет о чем

На ближайшей автобусной остановке висел подробнейший план Берлина. Выяснив, что до Шёнебергской набережной можно добраться и пешком, я двинулся вдоль неширокого канала, в котором стояла зеленая вода с застывшими в ней пустыми пивными жестянками.

Новопащенный жил когда-то близ Потсдамского моста, рядом с массивной, крепостного вида больницей из темно-красного кирпича. Но самого дома уже не было. По всей вероятности, его разбомбили в 45-м, и теперь на этом участке зеленел скверик, весьма неровный по ландшафту, бугристый, заросший бересклетом, который, как известно, охотнее всего растет на местах бывшего человеческого жилья.

Я несколько раз прошелся по этому зеленому пепелищу, пытаюсь прочесть хотя бы очертание фундамента исчезнувшего дома В траве что-то блеснуло. Я нагнулся и поднял... пятимарковую монету! В моем положении это было целое состояние. Во всяком случае, можно было немедленно купить на ближайшем углу длинную жареную колбаску и проглотить ее вместе с турецким бубликом, запивая баночным пивом

И тут подумалось, что находка вовсе не случайна. В городе, где умеют ценить каждый пфенниг, пятимарковыми монетами не разбрасываются. Просто эти деньги послал мне не кто иной, как капитан 1-го ранга Новопащенный. Раз уж я пришел за вспомоществованием в кают-компанию офицеров русского флота, то мне в нем не отказано. Мистика? Нет, чудо, которое свершается всякий раз, когда человек берет в руки оборванные нити прошлого и соединяет их. Надо просто суметь или угадать, как найти эти оборванные концы. На сей раз мне помогла старая визитная карточка...

На душе посветлело. Более того, я вскоре почувствовал, что нахожусь под незримым покровительством старейшины кают-компании, что с этого момента он ведет меня по городу и я должен идти, подчиняясь его воле, его тайным знакам... И я пошел куда глаза глядят, куда влекла меня рука невидимого гида.

Остановившись у китайского ресторанчика с вывеской «Хуан-Дали», я почувствовал, что в него надо войти. Сел за узорчатый столик под бумажными драконами, и сверхлюбезный официант-китаец бросился исполнять мой сверхосторожный заказ – чашечка жасминового чая. Разглядывая инкрустированных, резных, рисованных, отраженных в зеркалах драконов, попивая из крохотной чашечки (с драконами же) благоуханный желтоватый чай, я вспомнил, что здесь, в Западном Берлине, есть небольшой буддистский монастырь, о котором я знал еще со студенческих времен, когда писал курсовую о ламаизме – шаманизированном буддизме. И вот теперь вместо того, чтобы праздно шататься по городу, я должен – да, да, это так и прозвучало в сознании: «должен» – отправиться в этот монастырь. Официант-китаец рассказал, как его отыскать: местечко Фронау, десять остановок на метро. Я даже не огорчился, когда он потребовал за чашечку чая чудовищную сумму – три марки. Но, по крайней мере, две марки оставалось на билет до Фронау. И я, не медля ни минуты, двинулся к ближайшей станции U-bahn (метро).

Фронау – лесной уголок берлинского северо-запада. На улицах-аллеях, под вековыми липами, тополями и соснами, виллы одна уютнее другой. На вершине холма краснели сквозь сосновую хвою загнутые углы черепичной кровли. Внизу, у каменных воротец с каменными

же слонами, висела доска, извещавшая, что «Буддистерхауз основан в 1924 году художником и писателем Пулем Дальке».

Строго говоря, это был не монастырь, а обычная вилла, перестроенная под кумирню, при которой жили два шриланкийских монаха. Нечто вроде буддистского подворья в Центральной Европе.

Когда-то в этот затерянный уголок Берлина (это я узнал позже) регулярно наведывался Гитлер. В начале тридцатых годов здесь жил тибетский лама Джорни Дэн. Он трижды и без ошибок предсказывал газетчикам, сколько нацистов пройдет в рейхстаг, и потому будущий фюрер проникся к нему особым доверием. Надо полагать, что это спасло кумирню в лихолетье «Великого» рейха.

Я поднялся по тропе к небольшой пагоде. Монах в оранжевой тоге был несказанно удивлен появлению здесь русского человека. Он сообщил мне на английском, что я первый советский посетитель этого храма, показал библиотеку, молитвенный зал, а потом повел в крохотную трапезную, поскольку время было обеденное. Я не отказался ни от рагу из корней лотоса, ни от сладкого картофеля, ни от прочих мудреных восточных блюд, исходный материал для которых знал лишь повар-китаец, обслуживавший кумирню. За этот пир я поблагодарил Банти-садху (так звали гостеприимного хозяина) и... капитана 1-го ранга Новопапенного. Я ничуть не сомневался, что роскошное застолье случилось не без его вмешательства.

После обеда Банти-садху пригласил меня в храм, где несколько местных завсегдатаев собрались для медитации. Я тоже уселся на циновки и стал сосредоточиваться на одной и той же мысли: я пытался представить себе человека, которого никогда не видел, но с именем которого был связан весь день... Я ожидал, что он непременно выйдет на трансцендентальную связь. Но мысленному зрению очень расплывчато представлялся некий пожилой человек, сухощавый, в морском кителе... И только. Черты лица совершенно не читались. Я пытался вслушаться в свои мысли, определить в них то, что могло зазвучать извне... Но, кроме навязчивой строчки из Игоря Северянина, чей томик я захватил с собой в поезд, ничего не звучало.

Упорно грезится мне Ревель.
И старый парк Катеринताल...
...Упорно грезится мне Ревель...

Берлин. Август 1939 года

«Damen und Herren! Уважаемые пассажиры! Наш прогулочный рейс по каналам и озерам Берлина закончен. Мы подходим к причалу Трептов-парка. Прошу взглянуть на старого матроса, который готовится принять чалки нашего теплохода. Вы можете гордиться тем, что судьба свела вас с этим человеком, что наш речной трамвайчик принимает к пристани некогда один из лучших гидрографов русского флота, в не столь давнем прошлом отважный ледовый мореплаватель, бывший капитан 1-го ранга российского императорского флота Петр Алексеевич Новопапенный. Он искал неведомые земли. Он пытался проникнуть в священные пределы “земли онкилонов”. Судьба жестоко наказала его и его корабль – ледокол “Вайгач”.

Рукой большевистского узурпатора она сорвала с него прозеленевшие от морской соли погоны и боевые ордена, стерла с карты Арктики его имя и выбросила за пределы Отчизны. Благодарение Богу – его не постигла участь других соплавателей. Его не заслали в лагерь и не расстреляли в чекистском подвале.

Но корабль его погубили в 18-м году, когда в Енисейском заливе тот распорол себе днище о подводную скалу.

Ни о чем не спрашивайте его, господа. Он просто зарабатывает свой хлеб».

Возможно, такую тираду и произнес бы берлинский гид, если бы и в самом деле знал историю седуусого худощавого человека, подрабатывающего в туристический сезон швартовщиком на «Вайсфлотте» – о, ирония судьбы! – на «белом флоте» прогулочных теплоходов.

Фабиан Рунд знал биографию Новопащенного в самых общих чертах и тем не менее невольно проникся симпатией к этому хмурому старику, чей подвиг корветтен-капитан, как моряк, не мог не оценить. Впрочем, в день, когда он появился на Шёнебергской набережной, ничто не выдавало в нем морского офицера.

– Директор лейпцигского географического издательства Фабиан Рунд, – отрекомендовался он Новопащенному. – Мы готовим фотоальбом о полярных экспедициях, и в частности о вашем выдающемся походе на «Вайгаче».

– На «Таймыре» и «Вайгаче», – уточнил Новопащенный.

– Нам нужны фотоснимки. Мы хорошо заплатим за них.

– Увы! – вздохнул собеседник, и от Рунда не укрылось, что вздох сожаления был искренним – Ни капитан 1-го ранга Вилькицкий, начальник экспедиции, ни я, его заместитель, не успели написать отчеты о результатах наших исследований. Не успели, так как сразу же, как только наши суда пробились в Архангельск, экспедиция ввиду военного времени была расформирована, и мы с Борисом Андреевичем получили назначения на боевые корабли. Вилькицкий – на эскадренный миноносец «Летун». Я – на «Десну». Потом и вовсе закрутило. Не до отчетов стало. Насколько мне известно, все материалы нашей экспедиции после большевистского переворота отправили в Ярославль. Там они и сгорели в 18-м году, когда красные подавляли восстание Савинкова. Вот и все, что я могу вам сообщить.

– Немного. И тем не менее... У кого-то из офицеров могли остаться негативы. Кстати, а кто из членов экспедиции вел фотосъемку?

– У нас было несколько камер. Но самую подробную съемку вел старший офицер «Таймыра» лейтенант фон Транзе.

– Вот как! Он остался в России?

– Нет. Он тоже покинул ее. У меня нет с ним связи. Слышал, что он осел где-то в Дании.

– А кто бы мог помочь найти его? Новопащенный задумался.

– Пожалуй, что... Да, только он. Барон Мирбах.

– Знакомая фамилия.

– Его дядя был послом в России.

– Тот самый Мирбах, что был убит в Москве террористом из ЧК?

– Да. Оба его племянника служили в русском флоте. Один погиб в Цусиме, а с другим, Рудольфом Романовичем, мы вместе выпускались из Морского корпуса. Кстати, и Александр Транзе тоже. Они были очень дружны.

Последняя должность Мирбаха – флагманский минер Балтийского флота и командир штабного судна «Кречет»... Теперь он работает в Берлине таксистом. Вы можете отыскать его либо возле Остбанхофа, либо на Ванзее. Это его излюбленные стоянки.

Бывшего кавторанга русского флота Рудольфа Мирбаха Рунд отыскал на стоянке возле Восточного вокзала. Бывалый шофер отвез его домой, а заодно сообщил и адрес фон Транзе.

– Он живет не так далеко от Берлина В Копенгагене... Через два дня с аппарелей копенгагенского парома съехал и растворился в потоке машин скромный «опель» корветтен-капитана Рунда.

Копенгаген. Август 1939 года

С большим трудом он разыскал подвальчик переплетной мастерской, затерявшейся в лабиринте средневекового квартала Фальконер-аллея, 72. На звонок вышел пожилой лысеющий мужчина в очках и с пушистыми, подкрученными вверх усами. Черный рабочий халат

был заляпан клейстером. В подвальчике стоял смрад свежесваренного клея невыносимой рецептуры.

- Мне нужен господин фон Транзе.
- К вашим услугам.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Капитан 2-го ранга Александр Александрович фон Транзе, из дворян Лифляндской губернии. Родился 10 ноября 1880 года в Кронштадте, в семье флотского офицера Транзе. Окончил Морской корпус. Участвовал в Цусимском сражении вахтенным офицером на броненосце «Адмирал Ушаков». Был контужен. Взрывом выбросило за борт. Спасли матросы. Находился в японском плену в Нагасаки. В Первую мировую войну командовал канонерской лодкой «Грозный», которая вела активные боевые действия в Ирбенах, Моонзунде, у Усть-Двинска. Награжден многими орденами. После октября 17-го трижды арестовывался (два раза в Кронштадте и в Петрограде). Как заложник был приговорен в 1918 году к расстрелу. Спасло вмешательство германского посла графа Мирбаха. Эмигрировал в Данию.

– Нет. Ничем помочь вам не могу, – заявил переплетчик, выслушав «директора географического издательства». – Вы спутали меня с младшим братом – Николаем фон Транзе. Тот действительно участвовал в экспедиции Вилькицкого... У нас была многодетная семья. Я – старший. А еще четыре брата и три сестры...

Но корветтен-капитану недосуг было выслушивать семейную историю фон Транзе.

– Вы немец?

– Скорее латыш. Мать – латышка православного вероисповедания, и все мы, дети, тоже были крещены по русскому обряду.

– За что вас арестовывали большевики?

– Сначала просто как офицера, то есть как заложника после убийства Урицкого. Потом я уехал к жене в Кострому. Но тут начался Ярославский мятеж. Заодно арестовали и меня.

– Где сейчас находится Николай?

– Я потерял с ним связь. Последнее письмо я получил от него со Шпицбергена. Он работал там на шахтах. Это было очень давно.

Фабиан Рунд протянул собеседнику портсигар. Чиркнул зажигалкой. Табачный дым слегка перебил гнусный запах переплетного клея. Из какойдохлятины они его варят?!

– Как вы думаете, господин фон Транзе, где могут храниться негативы вашего брата?

– Из экспедиции он привез кожаный футляр со стеклянными негативами. Часть снимков была сделана на целлулоидной пленке, и гибкие негативы хранились в альбоме со специальными таше. Николай очень дорожил этими негативами. Ведь он заснял почти все побережье от Берингова пролива до Таймыра... Футляр-фототека был из крокодиловой кожи, обшитой изнутри зеленым сафьяном, и запирался на ключик. Ему подарил его отец, когда Коля увлекся фотографией еще кадетом младшей роты в Морском корпусе... Простите, я отвлекся. Все ценные вещи, бумаги, дневники, в том числе и фототеку с альбомом, брат хранил в своей каюте...

– На ледоколе «Таймыр»?-

– Нет. После экспедиции он был назначен командиром эскадренного миноносца «Молодецкий». Там и хранил.

– Может быть, эсминец погиб, и все ушло на дно морское?

– Корабль не погиб. Зимой 1918 года Николай перегнал его из Гельсингфорса в Кронштадт. Шел через льды с большим некомплектом команды, но пригодился опыт ледовых плаваний на «Таймыре».

– Вы имеете в виду Ледовый переход Балтийского флота?

– Да, да. Брат тогда за личное мужество и спасение корабля получил благодарность чуть ли не от самого Троцкого. Но тот же Троцкий стал потом расстреливать балтийских офицеров. Всех, и меня в том числе, возмутила казнь адмирала Щастного, фактически спасшего Балтфлот от захвата, пардон, войсками кайзера. Брат не стал, дожидаться своей очереди. Он, как тогда печально шутили, «не любил расстреливаться». Он ушел от большевиков. В одну штормовую ночь взял с собой красавицу-жену и на катере двинулся к шведским берегам. Это было отчаянное предприятие... Когда они все-таки добрались до Готланда, у жены в волосах появились седые пряди...

– Так, значит, негативы оказались в Швеции?!

– Не все так просто. В марте семнадцатого, когда служить на кораблях стало очень... как бы это сказать? Неуютно? Нет, тревожно. Матросы убивали офицеров, грабили их каюты. Николай свез с эсминца все свое имущество, в том числе и футляр из крокодиловой кожи, в наше маленькое родовое имение под Лугой и отдал на хранение старшей сестре Юлии. Потом началась Гражданская война и Стефан служил у Юденича...

– Позвольте, кто такой Стефан?

– Это наш четвертый по старшинству брат. В мировую войну он был прапорщиком-артиллеристом... В общем, когда красные перешли в наступление, вся родня покинула дом и двинулась с отступающей армией в Эстонию. В Эстонии их приютил друг и сослуживец отца капитан 1-го ранга Клапье де Колонг. Вот в его имении они все и осели.

Эта бесконечная история уже начала раздражать Рунда, но терпение его было вознаграждено.

– Так, значит, вы полагаете, что архив вашего брата находится в Эстонии?

– Точно так.

– Но с Эстонией, с младшими братьями, я надеюсь, у вас не прервались связи?

– Не прервались. Вы можете написать письмо Стефану. Правда, сейчас он работает во Франции, на ковроткацкой фабрике в Тулузе. Сейчас поищу его адрес. Но я бы советовал связаться с нашими сестрами, которые живут в Таллинне: Еленой, Тамарой и Юлией. Возможно, у них даже кое-что осталось...

– Я бы попросил у вас фотографию Николая фон Транзе. Это нужно для публикации в нашем арктическом сборнике.

– Хорошо. Я дам вам его фото. Только оно очень раннее. 1905 год. Николай снялся сразу после выпуска.

СТАРОЕ ФОТО,

Мичман в белом кителе, при кортике и золотой цепочке, перекинутой от второй пуговицы в нагрудный карман, безмятежно смотрит на фотографа. Девятнадцать лет. Чуть пухлое юношеское лицо, полоска темного пушка на верхней губе. Из-под обреза козырька черно-белой балтийской⁴ фуражки – умные глаза. Чуть грустные. Не оттого ли, что не успел ни в Цусиму, ни в Порт-Артур? Но впереди – льды полярных морей и огненные столбы германской, которую современники называли Великой или второй Отечественной войной...

⁴ В Черноморском флоте фуражки были белыми – и верх, и околыш.

Глава третья Ультима Туле

Москва. Август 1939 года

Эта беседа Молотова и Риббентропа не протоколировалась и велась с глазу на глаз, без помощи переводчиков, на русском языке. До революции они учились в одной гимназии.

Риббентроп: Господин Молотов! Германия вот-вот вступит в войну с исконным врагом вашей страны – Англией. Довольно будет вспомнить, что и Германия и Россия вместе пострадали от английского империализма в 18-м году. Не считаясь с союзническими узами, лондонские плутократы грабили беспомощное Советское государство как с севера, так и с юга. Вспомните, какой коварный удар нанесли англосаксы в 19-м году по Кронштадту.

Мы не взываем к возмездию за не столь уж давнюю интервенцию, но просим отнестись с должным вниманием к той суровой борьбе, которую вновь ведет Германия с коварным Альбионом.

И если масонские силы стравили наши великие державы в 14-м году, у нас сегодня хватит разума, чтобы быть вместе перед лицом общего врага. Нашему флоту нужны перевые базы в Северной Атлантике. Мы просим вас разрешить заходы немецких кораблей в Мурманск для ремонта и пополнения запасов.

Молотов: Мы понимаем сложное положение германского флота в неизбежной войне с Англией и готовы помочь вам в решении проблем базирования и снабжения немецких кораблей. На наш взгляд, Мурманск недостаточно изолирован, чтобы скрыть заходы германских кораблей в Кольский залив. К тому же там очень мало подходящих причалов. Вместо Мурманска мы предлагаем Германии на выбор две незамерзающие и хорошо укрытые бухты, в которые посторонние суда почти не заходят.

Это залив Териберка, в 30 милях к востоку от входа в Кольский залив, и Западная Липа в Мотовском заливе...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Германский штаб руководства войной на море 11 октября 1939 г.

Военно-морскому атташе в СССР капитану цур зее барону Баумбаху

Главкомандующий Военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Редер поручает Вам незамедлительно установить, насколько подходят предложенные Советским правительством бухты Кольского полуострова (Западная Лица и Териберка) для базирования немецких судов.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Военно-морской атташе при германском посольстве СССР капитан цур зее барон Баумбах 20 октября 1939 года

На ваш запрос от 11.10.39 сообщая:

Залив Териберка недостаточно защищен от непогоды и не совсем подходит для создания там передовой базы флота. Я полагаю также, что не следует рассчитывать и на предоставление германскому флоту портов Мурманск и Владивосток, исходя из следующих соображений:

1. Посещение немецкими военными кораблями Мурманска и Владивостока нельзя будет сохранить в тайне из-за присутствия в них судов других государств.

2. Ремонтировать корабли силами немецких рабочих на судоверфях в этих портах нельзя будет по той же причине.

3. Советские власти хотели бы пойти навстречу и выполнить просьбу Германии, однако опасаются обвинений со стороны Англии и Франции в нарушении нейтралитета.

Самым подходящим местом для оборудования «Базис Норд» является, на мой взгляд, губа Западная Лица в Мотовском заливе, куда немецкие корабли могут заходить скрытно практически в любое время года, то есть и светлыми полярными ночами.

Таллин. Сентябрь 1939 года

Это был последний авиарейс мирного времени. В те утренние часы, когда пассажирский «дорнье» катил по бетонке таллинского аэропорта, орудия линкора «Шлезвиг» утверждали право Третьего рейха на Силезию, Эльзас и Лотарингию, на новые границы и новый порядок в Европе. Обыватели всех стран, изучая за чашечкой кофе или кружкой пива газетные сводки, полагали, что вспыхнул всего-навсего очередной региональный конфликт. Но смерч небывалой войны уже закручивался над первыми руинами Варшавы. Кто знал тогда, что вихри его разойдутся кругами ада от африканских пустынь до ледяных полей Арктики?

Фазтон с поднятым верхом неспешно кружил по улочкам Нижнего города. Мягко барабанил дождь по туго натянутой коже. Металлическое кнутовище, воткнутое на немецкий манер рядом с сиденьем возчика, гибко покачивалось, как антенна, и, может быть, в самом деле различало во взбудораженном эфире и радиокоманды пикировавших на Варшаву, Кутно, Лодзь «юнкерсов», и SOSы польских кораблей, погружавшихся в осенние воды Балтики.

Война набирала обороты.

Фабиан Рунд по своей флотской специальности был первоклассным радиоинженером. В абвере ему пришлось осваивать азы иного искусства. Как и всякого новичка, его снедало болезненное честолюбие, и он готов был прыгнуть на голову своей тени, лишь бы покончить с этим пустяковым в глазах шефа делом.

Подспудное чувство, обостренное дождливой тоской этого мрачного города, подсказывало ему, что в таком месте, где жизнь сбита в пласты уныния, не может случаться никаких приятных сюрпризов, как не может происходить вообще ничего радостного.

Немолодая, но миловидная женщина – Елена Александровна Транзе – отнеслась к визиту зарубежного «издателя» с полным пониманием. Пока грелась вода для кофе, она переворошила все семейные альбомы, но ничего существенного для «будущей книги» отыскать не смогла.

– Тут дело вот как обстоит, – печально вздохнула она. – Вскоре после того, как Николай переправил из Гельсингфорса весь свой архив к нам в имение под Лугу – это было летом семнадцатого, не то в июле, не то в августе, – приехала мать лейтенанта Жохова, офицера, погибшего в экспедиции. Жохов был очень дружен с Николаем, и она хотела узнать все подробности гибели сына, а также получить фото его могилы. Сестры передали ей очень много всяких бумаг. В то время вокруг уже было неспокойно. Кое-где поджигали усадьбы. И хотя наш дом был довольно беден, мы тоже опасались разгрома. Луга находилась в прифронтовой полосе, а с фронта бежали толпы дезертиров. Пьяные, они были способны на все. И мы понемногу пристраивали наши вещи, книги, бумаги – у отца тоже был немалый архив – по друзьям и соседям. Так что, возможно, гостя увезла и негативы...

– Она увезла их в Петербург?

– В Кострому. Жоховы были родом из Костромы. Там же жили и родители жены моего брата Александра, у которого вы были. Видимо, они и сообщили ей наш лужский адрес.

– Кострома – это где-то в Сибири?

– Нет. От Москвы верст двести на северо-восток. Большой старинный город на Волге...

Разумеется, Рунд не собирался отправляться из Эстонии в Россию. Для того чтобы выяснить судьбу неуловимой фотолоции, существовали другие каналы. Корветтен-капитан

не питал на этот счет особых иллюзий, но неуклонно следовал золотому правилу разведчика: сомневаясь на каждом шагу, верить в успех операции, в ее конечную цель, в ultima tute.

Берлин. Октябрь 1939 года

В Берлине Фабиан Рунд обратился к шефу с официальным рапортом о разрешении подключить к своему делу специалистов из группы «Т». Эта группа была создана из людей, наделенных даром ясновидения и предсказания. Ее сотрудники жили в тщательно охраняемой вилле на берегу озера Ванзее. Своим названием – «Туле» – она была обязана легенде о древнегреческом мореплавателе Пифее, который, достигнув холодных скал туманного Севера, возможно острова Шпицберген, воскликнул: «Ультима туле!» Ему казалось, что это была та последняя цель, тот предел Вселенной, который суждено достигнуть смертному человеку.

Патроном «Туле» был рейхсфюрер СС Гиммлер, а идейным вдохновителем – Рудольф Гесс. Содержались обитатели секретной виллы за счет бюджета войск СС.

Маги из группы «Туле» вырабатывали методику поиска судеб в астральном пространстве, не прибегая ни к каким точным наукам. Специалисты более узкого профиля, объединенные в организацию «Аненэрбе», изучали опыт китайских, вавилонских, египетских, персидских и тибетских магов-ясновидцев.

Рунд написал рапорт с обоснованием необходимости привлечения к его зашедшему в тупик делу людей из группы «Туле». Адмирал Канарис поддержал его просьбу.

Последнюю резолюцию на рапорте наложил сам рейхсфюрер СС Гиммлер: «Разрешаю».

* * *

В комнате с зашторенными наглухо окнами сидел спиной к двери почти неразличимый в полумраке человек. Рунд, чуть волнуясь, веря и не веря в дар ясновидца, коротко поведал о своих поисках.

– Кратко сформулируйте суть вопроса, – негромко, но властно потребовал человек из группы «Туле».

– Где находятся сейчас негативы Николая Транзе?

– У вас есть его фотография?

– Да.

Рунда предупредили перед визитом в «Туле», что понадобится портрет человека, чей «клад» он ищет.

Он протянул карточку мичмана фон Транзе. Человек, не оборачиваясь, взял ее и накрыл ладонью.

– Мне уйти? – спросил корветтен-капитан.

– Нет. Как давно был сделан снимок?

– Тридцать пять лет назад. В России. Скорее всего, в Кронштадте или Петербурге.

– Мне не нужна лишняя информация. Отвечайте только на поставленные вопросы.

– Яволь! – подтянулся Рунд.

– Это подлинник?

– К сожалению, копия.

– Где подлинник?

– Мне неизвестно.

Человек помолчал с минуту, потом резко откинулся на спинку кресла.

– Я не могу работать с таким материалом! Мне нужен подлинник.

Рунд дипломатично промолчал.

Человек снова наклонился к фотографии. Теперь он положил на нее обе ладони – одну поверх другой.

– Мне очень трудно работать с таким материалом, – произнес он уже не так раздраженно, и в душе Рунда затеплилась надежда.

– Шпицберген? – спросил сам себя ясновидец. И Рунд чуть не вскрикнул; «Да, да! Он работал на шахтах Шпицбергена!» Но, к счастью, сдержался.

– При чем здесь Дрезден? – рассердился сам на себя человек в кресле. – Это же север. Скорее Земля Франца-Иосифа, чем Гренландия, Меня ведет на запад, но это скорее всего Новая Земля... Мне очень трудно. Новая Земля? Да. Русская изба... Тогда Новая Земля. Не могу. Забирайте к черту свою паршивую карточку! Я же предупреждал: я работаю только с подлинниками.

Рунд поспешно ретировался. «Ничего себе адрес! – скептически кривил он губы в машине. – Новая Земля, русская изба! Сколько их там, изб, на земле размером с Австрию, и каждая – русская... Насобирали шарлатанов. И каждый корчит из себя пророка. Да с таким снимком любой филер взялся бы за обычный розыск». Он еще раз взглянул на фото и не поверил глазам: на конце цепочки, перекинутой в нагрудный карман, четко проступали часы. Часы сквозь ткань кармана! Пальцы ясновидца как бы допроявили фото. Нет, они из обычного снимка сделали нечто вроде рентгеновского... Может быть, это просто пятно? Но его раньше не было, да и цепочка, прикрытая тканью кармана, явственно продолжалась до самого ушка.

Рунд изумился еще больше, когда через две недели на стол ему легла дешифровка ответа военно-морского атташе из Москвы. Капитан 1-го ранга барон Баумбах сообщал:

«На ваш запрос от 8.10.1939 года. Источник “Ипсилон-5” (Y-5).

Интересующие вас документы были переданы родителями покойного лейтенанта Жохова его товарищу по Северной экспедиции бывшему старшему штурману ледокольного транспорта «Вайгач» старшему лейтенанту Н.И. Евгенову в 1919 году для написания научного отчета о результатах сквозного плавания из Владивостока в Архангельск.

Евгенов долгое время служил в Красном Флоте гидрографом, начальником экспедиций по обследованию сибирских рек. Последние годы был старшим морским начальником Севера в составе Гидрографического управления РККФ. В 1937 году, за год до своего ареста органами НКВД, Евгений передал на хранение все имевшиеся в его распоряжении материалы, а также написанный им научный отчет, ненецкому охотнику-промысловнику, с которым познакомился еще в 1912 году на Новой Земле во время своей службы на сторожевом судне “Бакан”.

Евгенов был арестован 26 мая 1938 года и в настоящее время находится в одном из лагерей Коми АССР.

Предпринимаются меры к установлению имени охотника-ненца и его адреса».

Рунд, подавив в себе уязвленную гордость, испытал чувство, близкое к восхищению: источник Y-5 проделал филигранную работу! Правда, результат этого дотошного исследования был равен пока нулю. Найти безымянного охотника-ненца в тундре – все равно, что найти песчинку в океане...

Нетерпение, с каким Рунд ждал следующего донесения Y-5, он переживал разве что в детстве, когда приключения в книге обрывались на самом интересном месте.

Кто он вообще, этот Y-5?

Конечно, работать в Союзе стало намного легче. Особенно когда большевики разрешили немцам почти массовый въезд для поиска могил родственников, погибших на Восточном фронте. Y-5 вполне мог прибыть с этой волной и в Кострому, и в любой другой тыловой город, где размещались лагеря и госпитали для немецких военнопленных. Но скорее всего, он мог быть давно завербован и надежно внедрен в «гидрографию» Красного Флота.

Не исключено, что Y-5 – один из тех остзейских немцев, что приняли участие в экспедиции Вилькицкого.

«В дополнение к донесению № 647/39.

По уточненным данным, Евгенов передал документы Жохова через знакомого охотника-ненца начальнику радиостанции Д. Петрову в фактории Ягельное на Новой Земле. В 1914 году Петров в качестве радиста на норвежском судне “Эклипс” принимал участие в спасении экспедиции Вилькицкого. В настоящее время Петров также репрессирован и находится в концлагере на острове Вайгач. Интересующие вас документы, по всей вероятности, хранятся в Ягельной губе. Проникнуть туда не представляется возможным, ввиду того что фактория и радиостанция в ней закрыты.

Y-5».

Глава четвертая Арктическая поэма

Берлин. Осень 1939 года

Ошеломительно простая мысль пришла Рунду где-то на полпути со службы домой. Если бы он не держал руль своего «опель-кадета», непременно хлопнул бы себя по лбу: «Голова!»

Фабиан тут же свернул на набережную, ведущую к дому Новопашенного. Кто, как не он, бывший командир лейтенанта Жохова, мог рассказать о человеке, чье имя стало ключом к фотосокровищу Николая фон Транзе?

Новопашенного дома не оказалось. Соседи называли бир-штуббе – пивной подвальчик, где его можно было найти в этот час. И не ошиблись.

Рунд изобразил радость нечаянной встречи и заказал две кружки пива и два стаканчика можжевеловой водки.

– Жохов? – Старик развеял рукой зависшее над столиком облако табачного дыма. – Был такой... Помню...

Алексей Николаевич. Поэт наш... Он шел на «Таймыре» вахтенным начальником. Это в первую экспедицию. Потом, это уже в 14-м, во второй наш поход, пошел он старшим офицером «Таймыра» и одновременно помощником начальника экспедиции Вилькицкого. Ко мне на «Вайгач» его перевели в августе, и не по доброй воле. Хуже некуда, когда друзья-ровесники один под начало другого попадают. Они с Вилькицким в Петербурге на одних балах кружились. Но одно дело в столичных салонах мушкетерствовать, другое – полярную ночь зимовать нос к носу... Тут приятельство порой, как торосы ломает... У Бориса-то служба хорошо шла, вверх и гладко. Папа – генерал, начальник всей гидрографии. Но надо сказать, Андрей Ипполитыч сыну не потакал. И экспедицию Борис возглавил лишь после двух чрезвычайных обстоятельств: смерти отца и тяжелой болезни начальника экспедиции генерал-майора корпуса военных гидрографов Сергеева. Тяжелый был человек Сергеев. Он в наше тайвайское сообщество не вписался.

– Как вы сказали? Тайвайское? – переспросил, Рунд.

– Тайвайское, – по складам повторил Новопашенный. – По первым слогам «Таймыра» и «Вайгача»... Борис еще хотел так открытую землю назвать: Тайвай. Но окрестили ее Землей Императора Николая II, в честь трехсотлетия дома Романовых. Большевики переименовали, конечно. Сейчас она на совдеповских картах как Северная Земля записана. Северная, и все тут... Мало ли у нас северных земель? За Полярным кругом хоть каждый остров «Северным» зови... Вы уж простите брюзгу старого... Опять с курса сбился.

Так вот, не пришелся нам ко двору генерал Сергеев. Кают-компания у нас была молодежная. Я в свои тридцать два и то стариком считался. А Вилькицкий с Жоховым, те и вовсе «козероги»: на четыре года младше меня были.

Я у Жохова, в их младшей кадетской роте, фельдфебелем был. Он на меня эпиграмму написал:

Фельдфебель наш рожден был хватом:

Кадет? – хватать.

Но это – фатум.

Ни сном ни духом, конечно, не ведал он, что мне придется ему глаза закрывать... Нда... Морской круг, он очень тесен. Семья. Безо всяких аллегорий... А уж такой поход, как наш, сибирский, на одной военной дисциплине не сломаешь. Тут нужно было особое това-

рищество, основанное не на субординации, а на братстве людей, знающих, для чего они здесь, зачем пришли сюда, в ледяную погибель.

Общность судьбы, цели и риска – это, я вам скажу, такой сплав – на всю жизнь людей вяжет...

Ну и вот, Борис Андреевич Вилькицкий, Бобочка, как мы его называли, в свои двадцать восемь лет уже капитан второго ранга и начальник такой серьезной экспедиции, как наша. Жохов – всего лишь старлей и помощник.

Бобочка-то Бобочкой, но офицер лихой был, храбрый. Хотя и не очень везучий. В Порт-Артуре вызвался подводной лодкой командовать. Одно слово, что лодка. Гроб подводный, из подручного железа склепанный, а он на нем собирался на внешний рейд выходить, мины ставить. Слава Богу, что до этого не дошло... В атаки штыковые на японца ходил. Грудь навывлет прострелили. А потом Морскую академию закончил. Вот он в чине приятеля и обошел...

Рунд поймал себя на том, что слушает старика с живым интересом, хотя почти все, что он рассказывал, было очень далеко от сути порученного ему дела. Но он знал и «серебряное» правило разведчика: дай человеку выговориться, и тот сам скажет то, что тебе нужно.

Кельнер уже дважды менял кружки с пивом.

– Однако и Жохов был не лыком шит. Правнук нашей российской знаменитости – адмирала Невельского, племянник адмирала Жохова. Ну и характер тоже не сахар, даром что поэт... Он ведь на Сибирскую флотилию с Балтики под фанфары загребел. Что уж у него там в Либаве произошло, точно не скажу. Слышал, что повздорил на линкоре – он на «Андрее Первозванном» служил – со старшим офицером. Вроде бы тот унтера несправедливо цукнул, ну и наш флотский Лермонтов вызвался... Кончилось тем, что обоих с линкора списали. Ну и махнул Алексей Николаевич к нам, искать забвения, коль уж не в долинах Дагестана, так в ледяных полях Арктики, на «Таймыре». Ну и гонор, конечно: после линкора – да на транспорт... Тут у него все в одну точку сошлось – и служебный курбет, и любовный афронт... Выбрал он в невесты кузину, а отец ее, адмирал Жохов, воспротивился. Так вот и отправился на край света с разбитым сердцем. Врачевал его стихами да холодом.

В поход 13-го года фортуна нам всем улыбнулась. Открытия как из лукошка посыпались.

Вот вы, географический издатель, можете себе представить, что всего каких-то двадцать пять лет назад карта на север от Таймыра, – Новопашенный пальцем изобразил на мокром столике абрис полуострова, – являла собой чистый лист бумаги? Именно с такой картой 1912 года мы и уходили в тот рейс Белая бумага. А ведь там простиралась земля размером с Голландию! И никто об этом не знал... Когда мы ее открыли, Вилькицкий написал приказ слогом Жохова. Поэма, а не приказ...

И Новопашенный стал читать его, как читают белые стихи:

В поисках Великого Северного пути
Из Тихого океана в Атлантический
Нам удалось достигнуть мест,
Где еще не бывал человек
Мы открыли земли,
О которых еще никто и не думал.
Что вода на север от мыса Челюскин
Не широкий океан,
Как думали раньше,
А узкий пролив.

– Bravo! – заплодировал Рунд, поощряя старика с повлажневшими глазами.

– Тот пролив, как вы уже и сами изволили догадаться, носит имя Бориса Вилькицкого. Красные географы подчистили с карты слово «Борис», а у острова генерала Вилькицкого, отца Бориса, слово «генерал». И получилось так, будто и пролив, и остров названы в честь некоего абстрактного Вилькицкого. Ни отца, ни сына. Они эти фокусы умели делать. Остров цесаревича Алексея в Малый Таймыр переросли. Остров Колчака – в Расторгуева. Ну, тут понятно, адмирал им как кость в горле... Я, кстати, у Александра Васильевича «Вайгач» принимал. Он первым его командиром был. Вот так-то, господин хороший! Ну, мой остров, остров Новопашенного, тоже в 26-м году переименовали. Не ложится на совдеповскую карту имя белого эмигранта. Не подумайте, что в обиде на них за «свой» остров. Его как раз толково переименовали – в остров Жохова⁵. Как-никак, а Алексей Николаевич два острова лично открыл...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА.

«В ночь на 20 августа (1913 года. – Н. Ч.), – помечал в путевых записях врач “Таймыра” А.М. Старокадомский, – вахтенным начальником на “Таймыре” был лейтенант А.Н. Жохов. В 5-м часу утра он заметил впереди и несколько левее курса небольшой, высокий и обрывистый остров и немедленно сообщил об этом начальнику экспедиции. Не прошло и трех минут, как весь экипаж был на ногах. Из кают и кубрика, одеваясь на ходу, выскакивали на палубу офицеры и матросы, чтобы собственными глазами убедиться в существовании обнаруженного Жоховым острова».

– Так из-за чего же они поссорились, Жохов с Вилькицким? – не выдержал наконец Рунд.

Трудно сказать, в чем коренилась истинная причина их раздора. В любой экспедиции, особенно в затянувшейся, конфликты не редкость. Ведь и от Седова ушел штурман Альбанов, и у Русанова был раскол... Два медведя в одной берлоге не живут. А тут две такие натуры.

Повод нашелся. Где-то в конце июля четырнадцатого года мы покидали рейд Анадыря. Я вывел «Вайгач» в бухту, а «Таймыр» все еще возился с якорями. Вахтенный начальник неправильно стал фертоинг⁶, якорные канаты за ночь перекрутило так, что хоть топором руби. И обрубил бы – каждый день дорог, вся навигация с гулькин нос, – да запасных якорей не было. Сутки провозились, пока расцепились. Потерять ходовые сутки ни за понюшку табаку! Я Вилькицкого понимаю. Всем обидно было: и мне, и последнему кочегару. На прорыв в Европу идем, а тут сутки елозим, можно сказать, на старте, еще не войдя во льды... Жохов, как старший офицер, недосмотрел, конечно, хоть и не его прямая вина была. Ну, Борис Андреевич в сердцах с должности его снял и ко мне на «Вайгач» турнул, в вахтенные начальники. А у меня забрал к себе старшего – Николая Транзе, закадычного жоховского дружка-однокашника. Для гордой души поэта это был удар. Не приведи господь зимовать во льдах с поникшим духом... Да, впрочем, мы и не собирались зимовать. Приказ был срочно пробиваться в Архангельск и всю науку ввиду военного времени отложить до лучших дней. Нам везло и с погодой, и со льдами. Можно сказать, на фукса проскочили Чукотское море, Восточно-Сибирское и море Лаптевых. Оставалось миновать Карское, а там и до Архангельска рукой подать.

⁵ Именем Жохова названо в 1978 году озеро в низовьях реки Кельха (Красноярский край), где Алексей Жохов производил свою последнюю съемку.

⁶ Становиться фертоинг (морской термин) – способ постановки судна на два якоря.

Господи, как мы рвались домой, на запад! Четыре года в сибирских морях... И вдруг, как драгоценный приз, – обнять любимых, встретить Рождество в семейном кругу... Каждое утро поднимаешься с мыслью: «Льды! Где они? Не перекроют ли путь?» Каждый вечер с молитвой: «Господи, не засти нам путь льдами». Каждую вахту первый вопрос сигнальщику: «Как льды?» Считали дни, мили, тонны паршивого угля.

Кончалось лето, а мы уже оставили за кормой добрых две трети пути. Почти никто не сомневался – прорвемся. Осталось только Карское... И вот тут-то и влипли. Пролив Вилькицкого нас и не пустил. Даром что имя ему свое Борис Андреевич дал. Пролив от мыса Челюскина до Земли Императора был намертво забит сплоченными ледяными полями. Отчаяние, ярость, уныние – все было на наших лицах. Вилькицкий ринулся на таран. Впервые за всю экспедицию мы крушили льды своими форштевнями, скулами, бортами. Впервые мы шли, как ледоколы. Грохот льда и скрежет железа наполняли «Вайгач» от трюмов до мостика. Корпус трясло, как на булыжной мостовой. Но заклепки держали.

Мы почти пробились сквозь пролив, а «Таймыр» на самом выходе попал, в такие тиски, что затрещал корпус, ледяная глыба вперилась под ватерлинию, как нож под ребра. В левом борту образовалась вмятина, которая в любую минуту была готова превратиться в пробоину. Пострадал и мой «Вайгач»: срубились лопасть винта, оборвался штуртрос. Судно трясло как в лихорадке. Мне доложили, что в трюмах появилась течь. Нечего было и думать о прорыве на запад. К середине сентября нас окончательно затерло льдами, и мы зазимовали. Ближайшим берегом было западное побережье Таймыра. Около сотни миль до него. Плохо еще и то, что «Таймыр» вмерз от нас аж за 16 миль и общались мы только искровым способом по радиотелеграфу.

Но что делать? Зазимовали. И на зимовку особый настрой души нужен. Мы же уже видели себя дома, а тут еще год из жизни вычеркивать! Год... Тогда мы не знали, проживем ли неделю. Льды сдвигались, металл стонал, того и гляди придется высаживаться на лед.

Нас ожидало то, что случилось недавно с большевистским пароходом «Челюскин». Но у них было «дальнобойное» радио. И самолеты. Они могли стоять лагерем и ждать помощи. Мы же в случае гибели судов должны были пуститься в тысячеверстный путь на запад. Не многие бы дошли... Нас ждали в конце сентября. Но мы ничего не могли сообщить о себе на Большую землю. И родным предстояло гадать, живы мы или разделили судьбу русановской «Анны» с брусиловским «Геркулесом». Для всего мира мы пропадали без вести на год. И сознавать это было мучительно. И отчаяние и черная меланхолия вползали в слабые души при одной только мысли, что крик наш о помощи не долетит отсюда до человеческого уха. И вдруг...

И вдруг радиотелеграфист докладывает мне: «Ваше высокоблагородие, слышу работу передатчика».

– Да это «Таймыр» вызывает.

– Никак нет. Чужие позывные.

– Тут, кроме нас, на тысячу верст не то что передатчика, души живой нет. Иди слушай. – И сам к нему в рубку.

Разобрали морзянку. «Эклипс». Поисковое судно. Капитан – Огто Свердруп, тот самый, что на нансеновском «Фраме» капитанил. Цель плавания – розыск пропавших без вести «Святой Анны» и «Геркулеса». Искали Русанова с Брусиловым, а нашли нас.

Вилькицкий запросил: «Где вы? Укажите свое место». Бросились к карте – «Эклипс» от нас в 220 милях. Объяснили свое печальное положение. Свердруп ответил: «Иду на помощь».

С души будто глыба льда свалилась. Самое главное – судовое радио «Эклипса» хоть и маломощное, но держало связь с Югорским Шаром. И оттуда по цепочке сообщили в Питер, что с нами, и где мы. И все знают: живы. Покамест живы...

Ждем Свердрупа, как мессию.

А Свердруп тоже встал. Вмерз от нас в 280 километрах. Так втроем и зазимовали. И что самое преподанное – «Эклипс» потерял связь с Центром Далеко ушел. Меж собой переговариваемся, а что толку? Но у них там, на «Эклипсе», радист-чудодей был, король эфира – Петров Дмитрий Иванович.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА.

Дмитрий Иванович Петров, 1886 года рождения. Из крестьян Тамбовской губернии. Матросом учился в Кронштадтском учебном минном отряде на радиотелеграфиста. После службы окончил курсы Главного управления почт и телеграфов. Получил назначение на Север и в 1910 году прибыл на строившуюся радиостанцию в Югорском Шаре.

Отто Свердруп выбрал на свой спасатель именно его. Лучшего радиотелеграфиста в русской Арктике не было. Вот он-то и связывал нас с Большой землей, пока мы не выбрались...

– У него были жена, дети?

– Наверняка нет. Как и все истинные полярники, он был убежденным холостяком.

Рунд посмотрел на часы: беседа затянулась.

– Вам приходилось бывать на Новой Земле? – спросил он.

– Случалось... – вздохнул Новопашенный.

– Наверное, туда очень трудно добраться?

– Непросто... Зимой – на санях из Амдермы. Летом – пароходом из Архангельска...

Уж не собираетесь ли вы туда на экскурсию? – засмеялся старик

– Туда бы я предпочел отправиться только вместе с вами, – серьезно ответил Рунд.

– Нет уж, увольте. Я свое и отзимовал, и отплавал. Пора на мертвые якоря становиться, ниже земной ватерлинии...

Бывший каперанг долго протирал стекла пенсне. Так трут линзы морских биноклей – кусочком замши.

Глава пятая

Тайна Зеленого мыса

Архангельск. 1937 год

Следователь областного отдела НКВД допрашивал сумрачного, заросшего черной с проседью бородой, сухощавого моряка. Нашивки с рукавов кителя были спороты, но фуражку, которую мял в руках подследственный, еще украшал шитый «краб» с голубым флажком Главсевморпути.

Следователь: Назовите себя.

Арестованный: Петров Дмитрий Иванович.

Следователь: Это ваша фамилия?

Арестованный: Чья же еще?

Следователь: Сегодня вы Петров, завтра Иванов, а вчера Смирнов... Слишком простая у вас фамилия.

Петров: Какая есть...

Следователь: Итак, где и когда вы вступили в связь с врагом народа Евгеновым?

Петров: Это как мы познакомились, что ль? С самого начала?

Следователь: С самого начала.

Петров: В 1910 году на Новой Земле. Я служил в Югорском Шаре начальником радиостанции. Из Либавы пришло сторожевое судно «Бакан» – для охраны русских промыслов. Штурманом на «Бакане» был мичман Евгенов. Мы были почти что погодки. Я уже северил год, а ему все в новинку. Так вот и подружились...

Следователь: Почему вы скрыли, что служили в белой армии?

Петров: Я не служил в белой армии.

Следователь: Врешь, сволочь! Учти, всякий раз, когда ты будешь врать, я буду звать тебя на «ты» и «сволочью». Итак, за что тебя, сволочь, архангельское правительство в лице белого генерала Миллера наградило чином подпоручика?

Петров. Ни за что. Просто подошел срок производства в следующий чин, и Борис Андреевич Вилькицкий написал на меня представление на подпоручика по Адмиралтейству. Да я и не гнался за чинами. Какая там карьера – подпоручик в тридцать лет.

Следователь: Предположим В каких боях, походах, операциях белой армии вы участвовали?

Петров. Ни в каких боях и операциях я не участвовал

Следователь: И снова врешь, сволочь. Вспомни 1919 год. Куда и зачем вы направлялись со своим Борисом Андреевичем?

Петров: Мы шли в устье Оби для промерных работ...

Следователь: А то, что за вами следовали английский и шведский пароходы с оружием для Колчака, – это не военная операция?!

Петров: Я был в спецотряде Константина Константиновича Неупокоева Мы выполняли чисто гидрографические задачи. По нашим картам и сейчас суда ходят. И Вилькицкий в советское время караваны водил.

Следователь: Что входило лично в вашу задачу? Ведь вы же не гидрограф.

Петров. Я должен был выбирать места для будущих более мощных радиостанций. Адмирал Колчак считал необходимым создать такую цепь от устьев сибирских рек до побережья Белого моря.

Следователь: Значит, вы выполняли задание адмирала Колчака?

Петров: При правительстве Колчака был создан Комитет Северного морского пути. Мы работали по его плану...

Следователь: ...Утвержденному Колчаком!

Петров: В итоге так. Но ведь и большевики строят порт в устье Енисея по тому же плану⁷.

Следователь: Вы даже здесь умудряетесь заниматься контрреволюционной пропагандой! Отвечать только по существу! Нам известно, что в царское время вы служили в разведывательных органах. Какого характера работу вы выполняли?

Петров: Я служил в службе связи и наблюдения Балтийского флота Сначала простым радиотелеграфистом, а потом меня взяли в центр радиоразведки под Ревелем. В мою задачу входило перехватывать донесения немецких кораблей и передавать их на расшифровку.

Следователь: Значит, вы владеете немецким языком?

Петров: Да какое там!.. Так, с пятого на десятое...

Следователь: Ну а со Свердрупом вы на каком языке общались? На норвежском?

Петров: Он и по-русски меня понимал.

Следователь: А в каком году он предложил работать вам на норвежскую разведку? В пятнадцатом или двадцатом?

Петров: Да не было такого! Вот вам крест святой!

Следователь: Кстати, о святом кресте... Есть сигналы – вот тут у меня подшиты, – что вы отправляли религиозные обряды в Амдерме и на Новой Земле. Вы что, сектант, что ли?

Петров: В двадцать третьем году я ушел в Соловецкий монастырь и был там рукоположен в сан иподьякона. Когда монастырь закрыли, ушел в Архангельск. Был безработным. Потом Евгенов пригласил меня на службу радистом, и я согласился. Ушел в катакомбную церковь.

Следователь: Но религиозные обряды отправляли?

Петров: Да. Иногда приглашали проводить в последний путь умершего. Отпевал. На оленях приезжали. Как откажешь?

Следователь: Подпишите протокол. На каждой странице... Н-да. Белый офицер... Служитель культа... И все без регистрации... Да еще шпионаж в пользу Норвегии. Все ваши преступления, ваше благородие, виноват, ваше преосвященство, или как вас там титуловать прикажете, пожалуй, на всю катушку потянут, если честно не признаетесь... Чему это ты улыбаешься?!

Петров отвел взгляд от портрета Дзержинского.

– А ведь вы под портретом Мефистофеля сидите... Как же я сразу не догадался! – Сатана, вылитый сатана...

– Тэ-экс... – протянул следователь. – Это святотатство тебе тоже зачтется, сволочь... Увести!

Отбывать свой двадцатилетний срок Петрова отправили в лагерный пункт на острове Вайгач.

Поселок Черский (бывш. Нижние Кресты).

Июнь 1974 года

В тот год газетные дела забросили меня в низовье Колымы. Поселок Черский стоит на высоком (правом) берегу Колымы, склоны, овраги и обрывы которого завалены пустыми железными бочками, собачьими трупами, обломками самолетов.

Трубы тепло- и водомогастралей, как и всюду в заполярных городках, змеятся поверх улиц. Трубы забраны в бетонные короба, засыпаны опилками, сверху настланы доски – вот и тротуар. Как в песне: «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы...»

⁷ Порт Усть-Енисейск (ныне Дудинка) был заложен еще в 1917 г. Колчак в 1919-м продолжил строительство.

В одно из летних воскресений я отправился на катере в небольшую факторию в устье Колымы. Катер должен был забрать недельный улов рыболовецкой артели, а я напросился в рейс, чтобы посмотреть берега печально знаменитой и все же величавой реки. Там, при впадении в Восточно-Сибирское море, Колыма разливается на километры. Туда прилетают из Афганистана черные лебеди...

Несмотря на разгар лета, по берегам то тут, то там лежали очажки снега, серого, как известь. А в самом устье и вовсе дохнуло холодом ледяных полей, дрейфовавших за горизонтом – неподалеку.

Артель из трех человек располагалась в бывшей караулке заброшенного лагеря. Местечко называлось Зеленый Мыс, хотя никакая особая зелень, кроме скудной тундровой растительности, глаз здесь не радовала.

Пейзаж, и без того унылый, уродовали столбы с обрывками колючей проволоки, покосившиеся караульные вышки, бескрышные бараки... Из развалин какого-то строения за мной внимательно следили глаза стаи одичавших собак, как мне потом объяснили рыбаки, потомков лагерных овчарок, брошенных здесь после ликвидации зоны и смешавшихся с волками.

Под кручей берега ржавела на осушке старая самоходная баржа с зарешеченными иллюминаторами.

Низкое незакатное солнце полярного дня смотрело на остатки лагеря с другого – дальнего берега Колымы. Такой пристальный, тихий свет, не пуганный ничьей тенью, бывает разве что на лесных полянах да проклятых становищах, где творилось когда-то нечто страшное, и теперь даже птицы облетают их стороной. Безрадостен на таких местах солнечный свет, и чем ярче он, чем виднее под ним земля, бетон, трава, тем тревожнее на душе. Казалось, здесь и ночи-то не бывает потому, что солнечные лучи цепенит некая злая прошлая тайна.

Еще не зная, что к чему, я спустился к рыбакам, взял из своей сумки фотоаппарат и стал снимать зловещие картины. Я фотографировал с тем ощущением, с каким, быть может, следователь запечатлевает на пленку место преступления. Впрочем, тогда я и понятия не имел, что тут было на самом деле...

Без малого пятнадцать лет снимки эти пролежали в моем столе, пока однажды дела не привели меня в Петрозаводск. Здесь, на берегу Онежского озера, жил отставной капитан дальнего плавания Сергей Иванович Кожевников. Совершенно случайно в разговоре зашла речь о Колыме. Вот тут-то и приоткрылась зловещая тайна Зеленого Мыса. Я попытался записать рассказ Кожевникова на диктофон, но сели батарейки. И тогда я попросил Кожевникова написать мне подробное письмо, что он вскоре и сделал.

Вот оно: «Среди многих и многих, кто подвергся репрессиям тридцатых годов, был и я. В 1936 году меня, штурмана подводной лодки “Красногвардеец” Северного флота, арестовали и по статье 58 п. 10 УК РСФСР осудили на 5 лет, которые я отбывал в лагерях на Колыме. В тех краях я провел 13 лет, до 1949 года.

В 1938 году в лагере поселка Зверьянка я познакомился и близко сошелся тоже с бывшим моряком Аркадием Петровичем Смирновым. Прошло несколько месяцев нашей дружбы, когда в откровенном разговоре, с глазу на глаз, он рассказал мне подробности страшной истории, случившейся зимой 1937 года в лагпункте на Зеленом Мысе. В общих чертах об этих событиях я, как и многие заключенные лагерных пунктов, расположенных на берегах Колымы, знал тогда, когда эти события произошли, то есть в ноябре месяце 1937 года.

Кресты Колымские, ныне этот поселок называется Черский, в честь известного ученого-геолога и географа Ивана Дементьевича Черского (1845–1892), исследователя Восточной Сибири.

Сейчас, в наше время, пожалуй, мало кто знает о том, какие кровавые события разыгались близ Крестов Колымских поздней осенью 1937 года, так как единственный уцелевший свидетель этих событий – Аркадий Петрович Смирнов в 1956 году покончил жизнь самоубийством

Особое ужесточение режима в колымских лагерях началось осенью 1937 года.

После снятия с должности и ареста начальника “Дальстроя”⁸ Э.П. Берзина большое число вольнонаемных работников, занимавших более или менее значительные должности в системе “Дальстроя”, были также репрессированы – получили сроки или были расстреляны. Но особо жестокой расправе подверглись уже отбывающие свой срок политические заключенные, коснулось это главным образом бывших членов партии, осужденных после убийства Кирова и обвиненных в принадлежности к троцкистско-зиновьевской оппозиции.

Обвинение их в принадлежности к оппозиции основывалось на том, что их фамилии были в списках “воздержавшихся” при общепартийном голосовании в 1927 году (за точность даты не ручаюсь, так как сам был беспартийным). Это голосование проводилось так: каждый член партии на собрании своей парторганизации должен был подойти к столу президиума собрания и проголосовать, вписав свою фамилию в один из трех списков: первый – “За генеральную линию” (считай, за сталинскую линию), второй список – “За линию оппозиции” (линию Зиновьева – Каменева) и третий список – “Воздержавшиеся”.

Подлость этого “демократического и свободного” голосования заключалась в том, что эти списки сразу после голосования попадали в ОГПУ. Вот этими списками и воспользовалось НКВД после убийства Кирова.

Раньше всех, и еще до убийства Кирова, были арестованы и осуждены голосовавшие за линию оппозиции, а после убийства арестовали всех по списку “воздержавшихся” и так называемых раскаявшихся и отошедших от платформы Зиновьева – Каменева.

Всех оппозиционеров по этим спискам судили Особые совещания, или, как их еще называли, тройки, которые, не ссылаясь на УК (уголовный кодекс), указывали в приговоре формулировки: КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), просто КРД или ПВШ (подозрение в шпионаже). Людям по списку “воздержавшихся” в то время, в 1935 году, давали, как выражались в лагерях, “детские сроки” – 3–5 лет, и у многих из них они оканчивались в 1937–1938 гг.

Для “исправления” этого положения в Магадан был направлен из Москвы полковник НКВД Гаранин с неограниченными полномочиями. Ему поручалось организовать ликвидацию (расстрелы) заключенных, бывших членов партии, осужденных по формулировкам КРТД и КРД. Разумеется, нам, заключенным, Гаранин своих полномочий не предъявлял, и мы судили о них по тому, чему были свидетелями.

Вскоре после его появления в Магадане распространились слухи о том, что был расстрелян или просто застрелен самим Гараниным бывший начальник Ленинградского областного управления НКВД Медведь, который занимал эту должность в то время, когда в 1934 году был убит Киров, и который, как я думаю, был единственным еще оставшимся в живых из неугодных и опасных свидетелей, знавших тайну этого убийства.

В 1937 году Медведь не являлся заключенным, а был начальником Юго-Западного горнопромышленного управления (ЮЗГПУ). Весть о расстреле Медведя и многих других вольнонаемных работников “Дальстроя” быстро распространилась по лагпунктам Магадана и Колымы. Эти расстрелы и репрессии не скрывались, а, напротив, широко рекламировались, к тому же они придавали вес обвинению Берзина в обширном “антиправительственном заго-

⁸ Все лагеря Колымы и Магаданской области, осваивавшие богатства этого края, входили в систему «Дальстроя» НКВД СССР.

воре”. Для этой цели было спровоцировано восстание заключенных в лагпункте на Зеленом Мысе, близ Крестов Колымских.

Маленькая лагерная командировка на Зеленом Мысе была рыбалкой ТЗК (торгово-заготовительной конторы), и в обычное время содержалось на ней 6–8 заключенных при одном охраннике. В лагерной самодеятельности, в лагерном фольклоре бытовала тогда песенка: “На рыбалке ТЗК тянут сети два зека...” По тем временам такое место было мечтой для каждого заключенного, но попадали туда только по особому благу, и, конечно, не политические заключенные, а так называемые бытовики или уголовники.

И вот перед самым ледоставом в 1937 году на эту маленькую командировку, которая и функционировала только в летнее время, прибыл этап в двести заключенных, и все только по политическим статьям; в качестве охраны их сопровождали семь стрелков во главе с командиром На палубу доставившей их баржи или понтона был погружен немудреный стройматериал для сооружения барака и караула. Как оказалось позже, на барже был и другой груз, а именно: двести боевых винчестеров и патроны к ним, ящик ручных гранат и несколько ящиков взрывчатки. Об этом грузе боезапаса этапу не было известно.

Когда река Колыма окончательно стала и местечко Зеленый Мыс оказалось как бы отрезанным от всего мира, командир группы охраны созвал на митинг всех заключенных и в пространной речи обрисовал их безвыходное положение, как приговоренных к неизбежной смерти, а себя – как их единомышленника, руководителя восстания и дальнейшего общего побега в Америку. После этой неожиданной и бурного митинга он предложил каждому взять винчестер и патроны к нему. Был провозглашен лозунг: “Кто не с нами, тот против нас”; кто откажется взять оружие, тот должен быть изолирован, как возможный враг, заперт в особом помещении и находиться под охраной.

После некоторого колебания среди заключенных таких не оказалось, а из стрелков двое отказались примкнуть к восстанию и предполагаемому побегу: то ли они не были посвящены в эту провокацию, то ли так было задумано по “сценарию”, но их заперли в отдельном помещении и держали под охраной.

Человеку, не побывавшему в тогдашних так называемых исправительных лагерях, и современному молодому человеку вряд ли удастся понять, как могли взрослые и неглупые люди пойти на такую, казалось бы, явную провокацию. Это была именно провокация, о чем говорили некоторые заключенные на митинге. Но заключенным, ожидавшим смерти, даже эта провокация давала слабую, как им казалось, надежду вырваться на свободу.

Дальше события развивались так: организатор-провокатор предложил силой захватить оружие, нужное количество продовольствия в магазине Крестов Колымских, на факториях Нижне-Колымска конфисковать у якутов нарты с собачьими упряжками и двинуться через тундру к мысу Дежнева и дальше на Аляску. Может быть, не все заключенные ясно представляли себе географию этого края, но план и маршрут побега были безумные и невыполнимые: преодолеть более чем тысячекилометровый путь по холодной и безжизненной в зимнее время тундре – это заговор обреченных. Тем не менее провокационное начало было положено, а организаторам именно это и было нужно.

В ноябре вооруженные отряды заключенных с антисоветскими плакатами вышли на демонстрацию в Крестах Колымских и в Нижне-Колымске, реквизировали на фактории и в магазине какое-то количество продовольствия и сколько-то собачьих упряжек, после чего вернулись к себе в лагерь и стали ждать благоприятной погоды для выступления в этот безумный поход

Конечно, всем этим руководил командир отделения охраны – провокатор из Магадана. Управление НКВД в Магадане не торопилось с ликвидацией этого восстания, там знали, что никуда заключенные с Зеленого Мыса не уйдут, а в лагере “повстанцев” тем временем, на всякий случай и чтобы не терять времени даром, сделали подобие оборонительного рубежа:

заложили в разных местах на подходе к бараку самодельные фугаски из взрывчатки, провели от них провода к индукторам.

В последних числах ноября, а может быть в начале декабря, 1937 года в Нижних Кре-стах на лед Колымы сели самолеты из Магадана. Они доставили небольшой отряд войск НКВД, вооруженный винтовками и пулеметами. Руководители операции организовали и вооружили винтовками отряд из местного населения – якутов. После этих приготовлений лагерь на Зеленом Мысе был надежно блокирован и хорошо простреливался из пулеметов.

Оперативник из Зырянского райотдела НКВД Титаренко (я позже видел его в Зырянке и знал в лицо) явился в лагерь как парламентар с предложением, а вернее, с ультиматумом – в короткий и указанный им срок вынести все оружие за пределы лагеря и сдаться. При условии выполнения ультиматума Титаренко от имени магаданского начальства обещал полное прощение восставшим, что означало: у кого какой срок заключения был, такой и останется, а наказание понесут только организаторы восстания, то есть стрелки охраны и их командир. В случае отказа повстанцев выполнить в срок предъявленные требования будет открыт огонь из пулеметов по бараку. Все это было объявлено перед всеми восставшими на митинге в бараке, куда Титаренко привели, завязав ему глаза при проходе через “оборонительный рубеж”. Точно так же после предъявления ультиматума он был выведен за пределы лагеря, где ему развязали глаза и вернули пистолет.

После ухода “парламентера” митинг еще какое-то время продолжался. Раздавались голоса, что парламентару верить нельзя, а руководитель восстания предлагал оказать вооруженное сопротивление. Конечно, Титаренко мало кто поверил, но в том безвыходном положении, как всегда в подобных случаях, у многих теплилась надежда: пусть добавят срок, но ведь жизнь-то сохранят! Никто не хотел думать о скорой расправе.

К указанному сроку все двести винчестеров были вынесены за “рубеж обороны”, заложенные фугасы удалены, и все это было сложено в установленном месте.

После пересчета сложенного оружия отряд войск НКВД вошел в зону лагеря, загнал всех его обитателей в барак, окружил его и взял под прицел пулеметов. Ловушка захлопнулась. В домик, построенный для лагерной охраны, стали вызывать по одному на “суд”. Кто входил в состав этого “святейшего трибунала” и кто его возглавлял – неизвестно, они ведь не представлялись. Возможно, его возглавлял сам полковник Гаранин, но это был не Титаренко, вероятно, кто-то выше, прилетевший из Магадана.

Полагаю, что участь всех этих несчастных “повстанцев” была предрешена в Магадане еще тогда, когда формировали этот этап.

Вся процедура “суда” сводилась к проверке фамилии по списку этапа и занимала несколько минут. После вызова того или иного заключенного проходило столько минут, сколько было нужно, чтобы дойти от барака до домика, где заседал “трибунал” (так будем его условно называть), и обратно в барак, где звучал выстрел в затылок. Трудно себе представить то чувство предсмертной тоски, которое испытывали ожидавшие расправы. Акция длилась меньше суток – расстреляли всех двести человек, сложили в штабель, облили керосином и сожгли.

Небольшой отряд лагерной охраны, исполнителей этой подлой провокации, посадили в самолет и увезли в Магадан. Разумеется, дальнейшую их судьбу не сообщили, но я думаю, что их, как живых свидетелей, тоже позже расстреляли; такова была логика наших карательных органов: не оставлять в живых свидетелей. Впрочем, один свидетель все же остался. Это и был мой товарищ по нарам, погодок и коллега, Аркадий Петрович Смирнов, штурман торгового флота, в прошлом житель Владивостока.

Не расстреляли Аркадия Смирнова по той причине, что он не входил в список этого этапа. Кроме того, в лагерь на Зеленый Мыс он прибыл в день расправы, вернее сказать, за час-два до ее начала

Первый срок заключения у Аркадия (а позже были еще второй, третий) был небольшой – всего три года – и кончился в 1938 году. Осужден он был владивостокской “тройкой” в 1935 году с формулировкой СОЭ (социально-опасный элемент) или СВЭ (социально-вредный элемент), но, вероятно, больше за то, что скрыл свое социальное (дворянское) происхождение. Во время тех событий он работал в низовьях Колымы каюром (погонщиком) собачьей упряжки и в тот день прибыл с нартой из Амбарчика в Кресты, где его задержали и отправили в уже осажденную зону лагеря на Зеленом Мысе, а там заперли со всеми вместе в бараке. На его глазах вызывали заключенных по одному – по списку, – и через несколько минут он слышал за стеной барака одиночный выстрел.

Никто из нас, заключенных, не сомневался тогда в произволе и беззаконии лагерных властей, поэтому Аркадий ждал общей участи. После того как прозвучал за баракком двусотый выстрел, вызвали в “трибунал” и Смирнова – спросили фамилию, статью, срок, сверились со списками этапа, со списком получавших оружие, о чем-то пошептались. Велели увести. Из домика он вышел не один, сзади – вооруженный стрелок; пошли по снежной тропке к развилке – одна тропа за барак, и значит, на расстрел, другая – в барак, и значит, пока к жизни. Подойдя к развилке, Аркадий остановился в нерешительности, пока за спиной не услышал: “В барак!”

Вот Аркадий Смирнов и рассказал мне позже в подробностях эту страшную историю. Ни одной фамилии из списка обреченных он мне не назвал, вероятно, он об этом не спрашивал, а когда вызывали кого, не запомнил, не до этого было, но твердо знал, что весь состав этапа был из политических с разными статьями и сроками. Люди исчезли для всех – родных, близких, знакомых – бесследно. “И их же имена ты веши, Господи!” А место нужно помнить и знать. Зеленый Мыс, близ Крестов Колымских, ныне поселка Черского, в нескольких километрах вниз по Колыме.

Совершенно неведомыми путями история о восстании и расстреле целого этапа заключенных быстро распространилась по колымским лагерям, но без подробностей этой провокации.

Расстрел на Зеленом Мысе был только началом широких репрессий, начатых в колымских лагерях с появлением зловещей фигуры полковника Гаранина. Несколько позже, в ту же зиму 1937/38 года, на вечерних поверках стали зачитывать приказы о расстрелах за так называемый контрреволюционный саботаж на золотых приисках Колымы ранее судимых по статье 58 и КРТД. Делалось это ради устрашения и в назидание всем зекам».

* * *

Судьба Кожевникову все же улыбнулась. Там, за лагерной проволокой, он и представить себе не мог, что впереди у него – простор Мирового океана и весь мир. После освобождения, после окончания мореходки капитан дальнего плавания ходил и к берегам Австралии, и в порты Индии... Но живет он не благодатной памятью об экзотических морях и странах, живет он заботой, снедающей душу и сердце.

– Там, на Зеленом Мысе, нужен памятник. А если денег нет – камень поставить. Чтоб не ходили люди по той земле с пустой душой и спокойной совестью!

Глава шестая

Чаепитие на борту «Сталина»

Готенхафен (Гдыня). 3 июня 1940 года

В этот день из бывшего польского порта вышел немецкий транспорт № 45. Мало кто знал его подлинное название. Мало кто знал, куда направляется это грузопассажирское судно. И только отсутствие среди пассажиров женщин, да и сами пассажиры – молодые, спортивные как на подбор мужчины – наводило на мысль, что пароходу предстоит нелегкое плавание.

Мир – и Лондон прежде всего – не должен был знать об этом рейсе. Это была очередная «семейная» тайна Москвы и Берлина; и именно поэтому транспорт № 45, счастливо проскочив балтийские проливы и миновав Северное море, шел вдоль норвежского побережья, маскируясь под советский ледокольный пароход «Семен Дежнев». Красный флаг со свастики был заменен на красный флаг с серпом и молотом. Фальшивый «Дежнев» шел под охраной немецкого тральщика.

За мысом Нордкап таинственный транспорт объявил свое имя – пароход «Дунай». Но оно предназначалось лишь для английских радиоперехватчиков. В Москве и Мурманске знали истинное имя номерного «Дежнева»-«Дуная» – вспомогательный крейсер «Комет», или попросту «Комета».

Там, за самым северным мысом Европы, капитан Эйссен получил шифровку от советских друзей из Главсевморпути с любезным приглашением зайти в Мурманск и переждать там до начала проводки. Однако Эйссен не захотел рисковать скрытностью своего рейса и пожелал укрыться в пустынном квадрате Баренцева моря – в Печорском заливе.

Корветтен-капитан Фабиан Рунд стоял на крыле ходового мостика, любясь невероятной синевой Севера. Три недели назад он и представить себе не мог, что катапульты судьбы забросит его из сонного Цоссена в русскую Арктику. Шеф был настроен на лирический лад:

– Милый Фабиан! Хватит гоняться за химерой Редера. У вас есть шанс выветрить берлинскую пыль из своей флотской фуражки на хороших морских шквалах... Завтра вы отправляетесь в Гдыню... В порту найдете транспорт № 45, отдадите его командиру... виноват... капитану Роберту Эйссену этот пакет, Он все знает. От него получите более подробные инструкции. Можете, если представится случай, подбить его на поиски клада этого вашего русского лейтенанта... как его?

– Фон Транзе.

– Да, звучит очень по-русски.

– Как ни странно, все Транзе считают себя русскими. Они отказались от паспортов фольксдойче.

– Ну, это их проблемы... А я, честно говоря, искренне вам завидую, Рунд! Будь я помоложе лет на десять, я бы сам ринулся в это жюль-верновское плавание. Итак, взгляните на карту... «Комета» пройдет через льды всех сибирских морей, войдет через Берингов пролив в Тихий океан, порезвится на его просторах возле Австралии и Новой Зеландии, затем попугает англичан в Индийском океане и старой доброй Атлантикой вернется в родные края. Признайтесь, ведь курсантом вы мечтали именно о такой кругосветке? А?

– Это выше моего юношеского воображения!

– У вас есть дама сердца?

– Даже две! – подыграл шефу Рунд, радостно ошеломленный известием

– Вот как? Я не знал, что у вас два сердца. На всякий случай попрощайтесь с обеими подругами, как подобает мужчине, идущему в такой поход

«Комета» являла собой гибрид научно-исследовательского судна и боевого корабля. В его рубках размещалась наисовременнейшая аппаратура радиопеленгования и радиоперехвата. Рунд, как морской связист, оставивший свою первую профессию всего три года назад, приходил в восторг от того, насколько продвинулась за это время германская радиотехника. Особенно его взволновала аппаратура гидроакустического наблюдения и звукоподводной связи с погруженными подводными лодками.

Трюмы, кладовые, всевозможные выгородки, рундуки и кранцы «Кометы» были плотно забиты вещами на все случаи жизни, отчего пароход походил изнутри на плавучий этнографический музей, где меховые кухлянки эскимосов соседствовали с тропическими пробковыми шлемами, а разборные сани-нарты – с москитными сетками и безделушками для аборигенов Океании.

Замаскированные орудия и быстрооткрывающиеся пулеметы давали понять, что «Комета» вовсе не купец и не гидрограф, а боевой корабль, рейдер дальнего радиуса, вспомогательный крейсер, даром что без броневого пояса.

14 августа 1940 года Эйссен получил «добро» на вход в западные ворота Карского моря, пролив Маточкин Шар. Там он принял на борт двух советских лоцманов – Сергеевского и Карельского – и повел «Комету» по скалистому коридору пролива в свое пятое по штурманскому счету море – Карское, обьятное с запада Новой, а с востока Северной землями.

Курс – на пролив Вилькицкого!

Новая Земля. Август 1940 года

Полуночное полярное солнце пробивалось сквозь шторку иллюминатора. Рунд проснулся: в дверь каюты стучал вестовой: – Командир просит вас подняться в штурманскую рубку.

Эйссен встретил его загадочной улыбкой.

– Кажется, у вас есть шанс испытать свои кладоискательские способности. Мы возвращаемся на Новую Землю. Впереди мощные льды, и мы переждем их, где бы вы думали?

– В Ягель-бухте?

– Вы на редкость проницательны.

«Комета» бросила якорь на рейде Ягельной губы. Капитан Эйссен протянул Сергеевскому сигарету.

– Господин лоцман, вы не будете против, если мои ребята разомнут ноги на суше? – кивнул командир «Кометы» в сторону близкого берега.

– Мои полномочия распространяются только на ледовую проводку, – замялся лоцман. – Думаю, надо запросить разрешение.

– Вы настоящий немец, господин Сергеевский. Я сам педант, но не до такой степени. Разве на этих скалах есть какие-то военные объекты? А может быть, в тех хижинах штаб обороны Арктики? Ха-ха... Грех не воспользоваться такой погодой, господин лоцман. Вы сами моряк и знаете, что такое походить по земле после палубы... Впрочем, я сделаю запрос по радио, если вы настаиваете. Чуть позже, когда радисты закончат регламентные работы. А пока беру ответственность на себя.

Моторный катер высадил матросов на новоземельские скалы, обросшие разноцветными мхами. Моряки радостно галдели, фотографировались, собирали на память камешки, перья, птичьи яйца...

Рунд сразу же направился к хибарам. Окна их были заколочены. Пустые железные бочки из-под солянки дополняли и без того унылый пейзаж. Обломок антенной мачты и старые пачки сухих батарей говорили о том, что здесь была радиостанция. Дверь не забита... Рунд осторожно заглянул внутрь: железная печь, стол, стальной скелет голой кровати...

В углу сеней были набиты перекладыны – что-то вроде скоб-трапа, ведущего на чердак. По ним корветтен-капитан взобрался в полутемный приют полярных сов и бог знает еще какой живности. Луч фонарика отыскал в дальнем углу дубовый бочонок. Внутри оказался увесистый тючок, обшитый пыльной мешковиной. Вспоров ткань, Рунд извлек допотопный дорожный погребец, обитый по углам медными накладками. Замки на ремнях не поддавались: они требовали миниатюрного ключика. В нетерпении Рунд перерезал ремни, вытряхнув наконец содержимое – связки тетрадей, писем, рулончик свернутых карт. На одной из этикеток каллиграфически было выведено: «Лейтенант Николай фон Транзе-2-й».

О торжество аналитической мысли! Отыскать здесь, на краю земли, в этой избе, гипотетически вычисленный архив?! Да это подобно открытию планеты на кончике пера...

Умерив радость, Рунд поспешно затолкал бумаги в охотничий рюкзачок. В своей каюте он принялся за изучение тетрадей, пригласив офицера-переводчика. Чем дольше вчитывался знаток русского языка в бумаги, тем сильнее мрачнел Фабиан Рунд.

Да, это были походные дневники Николая Транзе. Но речь в них шла о переходе «Таймыра» и «Вайгача» на Дальний Восток южным путем – через Индийский океан! И ни одной тетради о северном пути.

То была лишь половина полярного архива. Вторую корветтен-капитану искать больше не довелось. «Комета» уносила его в большую войну. Но до конца жизни Рунд помнил: улыбка фортуны может быть фальшивой.

К 19 августа «Комета» была на подступах к восточным воротам Карского моря. Ее вел ледокол «Ленин», который благополучно проводил пароход в море Лаптевых и там передал ледоколу «Иосиф Сталин». Со «Сталина» радиовали: «Следуйте за мной. Когда встретим лед, прошу Сергиевского пригласить к нам капитана «Кометы», если тот пожелает».

Эйссен пожелал, и на борту «Сталина» состоялась теплая встреча за хорошо сервированным столом. Капитан «Сталина», один из лучших ледовых мореходов Союза Михаил Белоусов, передал гостю последние навигационные поправки к грифованной советской морской карте № 2637, прикреплённой к прокладочному столу «Кометы» советскими же лоцманами. Он ознакомил своего подопечного с ледовым прогнозом и пожелал счастливого плавания. Оно и в самом деле оказалось счастливым.

Ледоколы «Ленин», «Сталин» и «Каганович» провели «Комету» через Великий Северный путь в рекордный срок – за 23 дня! До этого рекорд укладывался в 26 суток.

И если Сталина за его сверхобязательные поставки продовольствия воюющей Германии прозвали в Европе главным интендантом Гитлера, то после проводки «Кометы» его вполне можно было титуловать и главным ледовым лоцманом фюрера.

Наркоминдел не забыл выставить счет Берлину за «ледовые услуги» в 950 000 марок.

РУКОЮ ИСТОРИКА.

«В дальнейшем этот “волк в овечьей шкуре” (рейдер “Комета”. – Н.Ч.) действовал в Тихом океане и добился, по оценке адмирала флота В. Маршалла, “исключительных успехов”. За 17 месяцев автономного плавания “Комета” потопила 9 судов союзников общей грузоподъемностью 65 000 тонн и захватила голландское судно с грузом олова и каучука, направив его в оккупированный немцами порт Бордо.

К сожалению, перечисленные “подвиги” “Кометы” отражают далеко не все последствия и результаты перехода Северным путем.

Нужно учесть, во-первых, что проводка военного корабля в Тихий океан самым коротким и безопасным путем проходила в разгар боевых действий на море. Во-вторых, сведения о навигационном оборудовании Севморпути, полученные во время проводки “Кометы”,

позволили германскому штабу руководства войной на море заблаговременно развернуть систему радиостанций на арктических островах Северного Ледовитого океана...

Данные о советских полярных станциях в Арктике, организации их радиосвязи, результаты промеров глубин в проливах были обобщены немецкими специалистами и уже в 1941 году изданы секретным приложением к «Наставлению о плавании в арктических морях». Это в значительной мере способствовало проведению активных операций немецкого флота на морских путях в Арктике, особенно в начальный период войны»⁹.

Разумеется, фотографии Николая Транзе и его походные дневники сделали бы немецкие лоции более точными. Но рейс «Кометы» позволил германским адмиралам обойтись и без его архива. А абвер в лице корветтен-капитана Фабиана Рунда окончательно потерял интерес к негативам и бумагам русского лейтенанта.

Однако точка в этой истории еще не была поставлена.

СУДЬБА КОРАБЛЯ.

Когда штурман «Кометы» вел свой карандаш по карте через пролив Санникова, он, разумеется, ничего не знал ни о человеке, чьим именем назван пролив, ни о загадочной земле, ни о сожженной дороге. Но *via combusta* уже пролегла через судьбу рейдера первой трещинкой краха... 7 октября 1942 года английские легкие силы отправили «Комету» на дно Ламанша.

⁹ Безносков А.В. Секрет базис норд // Военно-исторический журнал. 1990.

Глава седьмая

Матрос с «Кометы»

Была такая кинокомедия в шестидесятые годы – «Матрос с “Кометы”». И была такая драма в жизни – двадцатью годами раньше...

И все-таки на Аляску из Зеленого Мыса один человек ушел. Ушел, не дожидаясь кровавой расправы. Ушел, несмотря на всю абсурдность этого предприятия. Ушел без лыж, будто забыв, что заполярная зима уже надвинулась, запуржила...

Он долго присматривался к вмерзшему в колымский лед буксиру, тому самому, что притащил их арестантские баржи. Однажды вечером он взобрался на засугробленную палубу, отдраил люк в машинное отделение и там наковырял котелок солидола. Замотал его в ветошь и уложил на дно вещмешка. Залил спичечный коробок расплавленной свечой. Пол-литровая алюминиевая кружка, счастливо обнаруженная на колышке собачьего вольера, должна была заменить чайник. Из куска медной проволоки он выгнул легкий таганок.

В разграбленном магазине ему удалось разжиться холщовым мешочком, куда вошло пять фунтов ржаной муки, плитка черного чая и кусок сала размером с кирпич.

Провизии этой должно было хватить до первого чукотского стойбища или охотничьей заимки. Главный же расчет был на винчестер с полусотней патронов.

Из одежды удалось раздобыть к своему ватнику шерстяной красноармейский подшлемник, вязаные носки да постовые рукавицы со свободным спусковым пальцем. С тем и двинулся в тысячеверстный путь – на восход, на свободу, на Аляску...

Он выбрался из барака в три часа пополудни. Легкий морозец прихватил нос и щеки. В осеннем туманце курился острый полумесяц. Сухой плотный снежок звучно поскрипывал под подшитыми грубыми валенками.

Он шел под берегом Колымы на север, чтобы подальше уйти от сторожевого поста, выставленного южнее лагеря, на санном пути в поселок, и, отойдя километра на три, скинул шапку, пал на колени и стал креститься, оборотясь к востоку. Он молил Бога, чтобы тот не отвернул от него свой лик, не дал замерзнуть, не попустил задрать медведю, не занес пургой, не наслал цингу, уберег от доносного глаза, от пули охранника... После молитвы, оставив Полярную – Прикол-звезду, ринулся в тундру, будто спрыгнул с парохода посреди океана.

Наст был плотный, и ноги почти не вязли в снегу. Но он знал, что так будет до первой пурги.

Сердце пело даже при мысли о белой смерти мороза. Лучше замерзнуть в тундре, чем быть пристреленным за железной колючкой.

Первую ночь передрог в снегу, завернувшись в брезентовый балахон, который прихватил со сторожевой вышки. Утром поставил на таганок кружку с плотно примятым снегом, поджег кусочек ветоши, намазанной солидолом, и вскипятил чай. В нем же сварил три галушки, скатанные из ржаной муки. Кусочек сала довершил завтрак. Шел весь день. Ужин был таким же, только чуть более плотным – четыре галушки и два ломтика сала – для подогрева изнутри.

Погода пока что щадила его: и ночью, и неразличимым днем стоял ровный, мягкий морозец, и ничто не предвещало пургу.

На четвертое светание (отсчет суток он вел по красноватым зорям на восточном склоне) он вышел к старой поварне на берегу большого тундреного озера. В хибаре с забитыми окнами стояла печурка, сделанная из железной полубочки. На топчане валялась облезлая оленья шкура. Пошарив под притолокой, он обнаружил сокровище – жестянку из-под зубного порошка, набитую сырой и серой слежалой солью. И еще один подарок пригото-

вила ему фортуна. Под крышей поварни он нашел старые охотничьи лыжи с пересохшими ремнями из моржовой кожи.

Первым делом он затопил печь. По доброму сибирскому обычаю последний обитатель поварни оставил для растопки охапку каких-то корневищ и несколько деревяшек, попавших сюда, видимо, с колымского берега.

Пока огонь пожирал скудное топливо и топился снег в кружке, он сотворил благодарственную молитву ангелу-хранителю. Эту ночь он не передрожал, а впервые провел в блаженном сне, хотя зыбкое тепло печурки хибара держала плохо.

Подкрепившись ржаными галушками и чаем, он извлек из вещмешка книжицу в твердом коленкоровом переплете, украшенную витиеватым тиснением: «Краткая биография Иосифа Виссарионовича Сталина». Книжку эту он выменял на буксире на мундштук, собственноручно вырезанный из мамонтовой кости. Окунув очинённое перо чайки в припасенный пузырек йода, он вывел первые строки своего путевого дневника. Добротная, плотная бумага книги позволяла писать между типографских строчек и на больших полях. Сам того не ведая, он дописывал биографию вождя, она проступала сквозь официальный текст рыжевато-кровянистым бисером убористого почерка радиотелеграфиста старой флотской школы. Вести дневники Петров приохотился еще в Кронштадтской школе.

«25 ноября 1938 года. Не знаю, какой день недели.

Сегодня впервые за время похода я перестал ощущать страх. Поварня, лыжи и соль – знамение Господне, его ободрительный знак: “Иди!” Я верю в добрый исход. Я перейду Чукотку. Я знаю Север. У меня нет карты. Но Господь выведет меня к становищу добрых людей, и они помогут.

Весь день боролся с искусом зазимовать в поварне и добывать еду охотой. Но этого нельзя делать по двум основаниям: 1. Слишком близко от лагеря, могут снарядить погоню. 2. Как бы удачна ни была охота, она не спасет от цинги.

26 ноября. Вторые сутки блаженствую под дарованным Богом кровом. Надо немного набраться сил. Впереди – неизвестность...

Чинил лыжи. Опробовал их. Крепления держат. И слава Богу.

Имел на обед свежее мясо. Подстрелил небольшого лемминга¹⁰. Сварил бульон. Соль сделала его вполне съедобным.

Всю трапезу твердил себе: это не крыса, это лемминг... Противно, но питательно. Оленьятинки бы.

27 ноября. Сильное небесное сияние – значит, погода устоялась. Пурги не будет. Помолясь, вышел...

Декабрь. Дня не знаю. Сбился с точного счета. Должно быть, за Юрьев день перевавило. В Юрьев день медведь в берлоге засыпает. А я, как шатун, бреду на восход.

Вчера подбил песка. Устроил пир. Добыл из-под снега ягелю. Растираю, добавляю в муку, завариваю с чаем, жую так. Но десны все же опухают.

Вокруг – ни звука человеческого, ни следа. Погода благоволит. Ночую в снегу. Шкуру захватил из поварни. Хотя и лысая, а все же – постель.

Амбарчик, кажется, обошел. Теперь буду выбираться к побережью. Там и плавник для костра есть, и чукчи зверя бьют...

Год 1939-й. Январь. В Рождество запуржило. Залег в снег. Скоро завалило. Пережидал, как в пещере. Даже чай варил. Холод донимает.

Пишу кратко. Иод кончается. Да и пальцы свело... Если кому придется найти эти записи, добрый человек, отошли их Евгенову или Гернету в штаб Главсевморпути...

Господи, зовешь ты меня».

¹⁰ Арктический грызун из семейства полевок. Не больше 15 сантиметров в длину.

Петрова нашел под снегом чукотский охотник Анкат. Обнаружил его залежку по торчащим из снега лыжам, которыми тот пробуравил в сугробе дыхательный ход. Убедившись, что незнакомец еще дышит, Анкат соорудил из его лыж знак поприметней и двинулся к своей яранге. Вскоре он примчался на собачьей упряжке, погрузил полуживое тело на нарты и отвез на становище. Жена и мать Анката растирали замерзшего путника в четыре руки медвежьим жиром, потом укрыли едва затеплившееся тело медвежьими шкурами и, когда Петров ненадолго пришел в себя, стали отпаивать его горячим чаем с растопленным китовым жиром

Приходя в себя, он видел желтые огоньки горячей ворвани в глиняных плошках и нависающую над ним шерсть медвежьего полога – черную от осевшей на ней копоты. И снова проваливался в забытие, такое же непроницаемо черное, как и его нечаянное убежище.

Два месяца провалился беглец с жестоким воспалением легких. Его отходили чукотские женщины одним лишь им ведомыми снадобьями.

«Весна 1939 года. Кажется, я снова могу продолжить свой дневник. У Анката в хозяйстве нашелся обломок химического карандаша.

По расспросам хозяина яранги я определил, что он подобрал меня где-то на подходе к низовьям реки Раучуа. Яранга его стоит где-то в полторастах километрах севернее Баранихи. Это значит, что я прошел всего лишь четверть своего пути. Не намного меня хватило... Пережду до лета и двинусь по сухотропу.

Анкат – вольный охотник, бьет зверя, сдает песцовые шкурки в колхоз. Из Баранихи раз в лето ходит к нему моторка. Зимой отвозит добычу на собаках.

Он плохо говорит по-русски, но все же понял то, о чем я его просил; не говорить обо мне никому. Я подарил ему свой винчестер, и Анкат счастлив. Его бердан порядком изношен. Несколько раз ходил с ним на охоту. Вдвоем куда сподручнее.

Он просит дожить у него до следующей зимы, а там он отвезет меня на нартах за Пегтымель к своему брату. Пегтымель, сколько помню я карту, это середина Чукотки, это только половина пути. Дай Бог дойти мне до этой реки за лето...»

Сентябрь 1940 года. Берингово море

В ранних осенних сумерках сигнальщик «Кометы» обнаружил справа по курсу странное плавучее средство. Вместе с вахтенным офицером они в два бинокля изучали непонятное сооружение, похожее на катамаран. Да это и был катамаран, составленный из двух чукотских каяков. Он пересекал курс парохода под самодельным парусом, используя попутный западный ветер. Так далеко от берега местные рыбаки не уходили.

Вахтенный офицер доложил Эйссену, и тот приказал застопорить ход. Бородач, сидевший в катамаране, охотно покинул свое утлое суденышко и перебрался по спущенному штурмтрапу на борт «Кометы».

Допрашивали его в ходовой рубке в присутствии Эйссена и Рунда.

Буйноволосый бородач назвался Дмитрием Петровым. Он признался, что бежал из лагеря и два года жил среди чукчей, пока не представился случай соорудить из двух каяков катамаран и выйти на нем к берегам Аляски.

– Господин Петрофф, – сказал ему Эйссен, – у нас нет возможности передать вас каким бы то ни было властям, так как наш маршрут не предусматривает никаких заходов в иностранные порты. В то же время мы не можем содержать вас на корабле ни как пассажира, ни как пленника. Вам придется выполнять обязанности камбузного матроса, а также нести вахты, согласно корабельным расписаниям

Молчаливый бородач кивнул в знак согласия.

Почти полгода Петров драил палубу «Кометы», чистил варочные котлы, красил судовое железо, пока весной сорок первого года немецкий рейдер не захватил голландский паро-

ход с оловом и каучуком Ценную добычу решено было отправить в Германию. В состав перегонной команды назначили всех, от кого Эйссен посчитал нужным избавиться на «Комете», в том числе и Петрова. Командование пароходом принял корветтен-капитан Рунд.

Рунд не доверял голландским радистам. Он велел врезать в дверь радиорубки новый замок и все ключи хранил у себя. Среди матросов перегонной команды радиотелеграфистов не оказалось, и Рунду приходилось нести радиовахты одному и, кроме того, следить за движением судна, что было весьма утомительно. Он несказанно удивился, когда спасенный русский бородач (бороду, отращенную на Чукотке, он так и не сбрил, несмотря на пекло тропиков) заявил, что он профессиональный радиотелеграфист и мог бы взять часть радиовахт на себя. Рунд с изумлением смотрел, как заглубевшие пальцы матроса безошибочно бегают по верньерам и тумблерам приемника, передатчика... В свою очередь, Петров поразился тому, что немецкому офицеру знакомы имена Евгенова, Жохова, Вилькицкого. Все это выяснилось, когда в одной из доверительных бесед за рюмкой голландского рома Петров признался Рунду, что он бывший радиоофицер русского флота, подпоручик по Адмиралтейству. Запаса немецких слов, намертво заученных в непенинском радиоразведцентре, вполне хватало, чтобы худо-бедно объясняться с корветтен-капитаном, который проникся к русскому коллеге такой симпатией, что велел голландскому капитану найти для своего помощника китель с лейтенантскими нашивками. В нем Петров и нес свои немые радиовахты. Он, разумеется, в эфир не выходил, но важно было прослушивать широкоэвещательные станции. Увы, голос Москвы до Индийского океана не долетал. И о том, что творилось в мире, можно было судить лишь по радиосообщениям англичан из Кейптауна.

Но Петров наслаждался забытым хорщем эфира, клетотом морзянки, завыванием и грохотом радиоокеана. Иногда к нему заглядывал Рунд. Слушали вдвоем. Когда оба уставали, Рунд заказывал по телефону бутылку сельтерской, и кок-голландец приносил в перегретую радиолампами рубку бутылку ледяной воды и тонко нарезанный лимон.

– Так как вам удалось пересечь Чукотку? – допытывался Рунд. – Чем вы питались?

И Петров рассказывал, как он шел по летней тундре, собирая ягоду-шикшу и клюкву, как добывал на скалах яйца чаек-моевок и заедал их ярко-красные желтки выброшенной на камни морской капустой. Рассказывал, как потчевали его чукчи кровяной похлебкой «понта» с толченой сараной и листьями черемши или рыбной строганиной с моченой морошкой.

Корветтен-капитан при описании подобных яств лишь брезгливо поводил плечами и смотрел на рассказчика, как смотрят на шпагоглотателей и факиров.

В июне сорок первого голландский сухогруз, благополучно обогнув мыс Горн, вошел в воды Бискайя. «Флигер Голландер» («Летучий голландец»), как прозвали немцы захваченный пароход, закончил свой полукругосветный рейс в порту Бордо.

– Что вы собираетесь делать дальше? – спросил Рунд Петрова; за время опасного плаванья они стали почти приятелями.

– Я надеюсь отыскать в Париже Вилькицкого. Евгенов говорил, что он осел именно там

– Нет никакой гарантии, что вы его найдете. Поезжайте лучше в Берлин. Там живет Новопашенный. Я дам вам его адрес... И вообще, напишу самые лучшие рекомендации.

Петров задумался.

– И все же к Вилькицкому. Новопашенного я почти не знаю...

Рунд помог выправить необходимые бумаги для получения вида на жительство в Париже. С тем Петров и отправился на розыск Вилькицкого.

Евгенов ошибся: Вилькицкий осел в Брюсселе...

Глава восьмая «Мы считали его предателем»

Париж. 22 июня 1941 года

В Париже полицейский чиновник, оформлявший Петрову документы, прочитав в немецких бумагах его фамилию, заговорил вдруг по-русски:

– Вы из России? Эмигрант?

– В некотором роде... А вы?

– Люби Константин Григорьевич. Капитан 2-го ранга российского императорского флота. В прошлом.

– Подпоручик по Адмиралтейству Петров Дмитрий Иванович.

– Где служили?

– Служба связи флотилии Северного Ледовитого океана.

– Великолепно! Я имел честь командовать подводной лодкой «Карп» в Черном море...

А знает ли служба связи, что нынешним утром германские войска вторглись в пределы бывшей России?

Ответом было молчание человека, которого поразил гром.

– Кстати, где вы остановились?

И узнав, что у Петрова в Париже ни единой знакомой души, кроме не найденного еще Вилькицкого, Люби предложил свою холостяцкую квартирку на «Бульваре Севастополь».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Сын потомственного моряка, Константин Григорьевич Люби родился в 1888 году. Православный. Женат. После Морского корпуса окончил курс в Учебном отряде подводного плавания.

Впервые я встретил эту короткую фамилию в книге патриарха истории русского кораблестроения, доцента военно-морской академии Николая Александровича Залесского. Книга, которая была издана в Ленинграде, называется «Краб» – первый в мире подводный заградитель». Как явствует из ее названия, речь в ней идет о гордости отечественного судостроения – уникальной подводной лодке «Краб», построенной николаевскими кораблями в 1914 году. Кстати, именно этот корабль открыл боевой счет русских подводников. На выставленных «Крабом» минах подорвался близ Босфора германо-турецкий крейсер «Бреслау». Собственно, это был «Краб» № 2, первый же подводный минзаг строился еще в 1904 году в Порт-Артуре и представлял собой одноместную карликовую подводную лодку, командиром-водителем которой вызвался быть двадцатилетний мичман Борис Вилькицкий.

Лейтенант Константин Григорьевич Люби был первым старшим офицером минзага «Краб». Он так рвался в бой, ему так досаждала задержка с достройкой лодки, с доводкой ее сложного по тем временам минно-постановочного устройства, что командование Черноморского флота перевело его на другую подводную лодку и назначило командиром «Карпа». Эта субмарина вполне оправдывала свое мирное рыбье имя, ее боевые качества к началу Первой мировой войны значительно уступали более молодым соратникам. Лейтенант Люби не унывал и надеялся на военное счастье.

Люби водил дружбу со своим бывшим сослуживцем по «Крабу» – потомком знаменитого русского мореплавателя – Валерианом Крузенштерном, командиром «Нерпы». Однажды «Нерпа», крейсируя под Босфором, всплыла для осмотра каравана турецких парусников. Подводную лодку заметили с береговой батареи, и вокруг «Нерпы» стали рваться снаряды. Погрузиться не позволяло мелководье, на которое вышла лодка, обходя караван. Но

лейтенант Крузенштерн не растерялся. Он снял фуражку и помахал ею рыбакам-банабакам. Те в ответ стали размахивать фесками. Этот обмен приветствиями озадачил артиллеристов. Батарея прекратила огонь, и «Нерпа» благополучно выбралась на глубину.

Много лет спустя, когда Люби взялся за перо, этот эпизод послужил сюжетом одного из его рассказов.

В трудные годы эмиграции он публиковал свои рассказы и очерки во французских и русских журналах под псевдонимом Черномор.

В 1934 году вышла его первая книга «Под колумбийским флагом». О ней чуть позже. Здесь же уместно вспомнить очень верное наблюдение писателя-моряка Виктора Конецкого: флот, даже если он выталкивает из себя человека, успевает дать ему нечто такое, что позволяет добиваться успехов в других сферах жизни.

Русский флот дал Константину Люби многое, можно сказать, все для того, чтобы не пропасть на чужбине. Отец его, штурман крейсера «Богатырь», определил сына в Морской корпус вскоре после того, как это старейшее учебное заведение России отметило свое 200-летие. В 1908 году корабельный гардемарин Люби, находясь в учебном плавании в Средиземном море, спасал вместе с другими русскими моряками жителей Мессины, сожженной извержением Этны. Тот выпуск Морского корпуса с гордостью называл себя «мессинским». Мичман Люби был награжден первой своей медалью – «За оказание помощи пострадавшим во время землетрясения в Мессине и Калабрии». Позже к ней прибавились боевые ордена – Станислава III степени и Владимира, затем золотое Георгиевское оружие «За храбрость».

Его всегда тянуло неизведанное – риск, приключения, опасности. Именно поэтому молодому офицеру пришлось по душе профессия подводника. Незадолго перед войной он закончил обучение в либавском отряде подводного плавания и был направлен в дивизион подводных лодок Черного моря.

Весьма болезненно пережил он затопление Черноморской эскадры в Цемесской бухте и немецкую оккупацию родного Севастополя в восемнадцатом году.

Все это определило его жизненный выбор: в белом флоте капитан 2-го ранга Люби командовал канонерской лодкой «Страж». Потом – тернистый путь многих: Константинополь, Греция... В 1920 году Люби обучал в Пирее греческих подводников как офицер-инструктор.

В конце двадцатых годов Люби перебрался во Францию. Здесь он не смог найти применение своему морскому опыту и потому отправился искать счастья в Южную Америку. В то время, 1932–1933 годы, Колумбия вела войну с Перу. Боевые действия шли и по речным просторам Амазонки. Люби становится главным морским советником Верховного главнокомандующего вооруженными силами Колумбии. И не просто советником. Он вооружает во Франции транспорт «Москэру» и под колумбийским флагом пересекает Атлантический океан. Сделать это было не так просто, как сейчас кажется. Вместо матросов у капитана Люби были обычные солдаты, вчерашние крестьяне, переодетые в морскую форму. Не обошлось без казусов. Однажды, заглянув в оружейный прицел, Люби ничего не увидел, так как линзы прибора почему-то вдруг стали матовыми. Выяснилось, что новоиспеченный комендор «почистил» стекла наждаком...

Ближайшим помощником в том отчаянном рейсе был у Люби его соотечественник, бывший лейтенант русского флота Евгений Гире, выходец из старинного и разветвленного морского рода, чьи представители и поныне несут свою вахту на флоте. Перед входом в Амазонку Гире предложил для устрашения противника удлинить стволы 88-миллиметровых орудий вентиляционными трубами. Уловка имела успех. Неприятель зачислил «Москэру» в разряд «вспомогательных крейсеров» и старался избегать с ним боевых столкновений.

По сложному фарватеру коварной реки Люби прошел три тысячи километров, поднявшись в самые дебри Амазонки. В одном из боев он был тяжело ранен в ногу и потому вер-

нулся во Францию, где целиком отдал себя научной и литературной работе. Он выступал с лекциями о диковинной природе Амазонки, о жизни и нравах племен, населяющих ее берега, написал книгу о своем необычном походе, публиковал очерки о боевых действиях русского флота на Черном море, статьи по вопросам военно-морского искусства, пытался прогнозировать развитие военных флотов. О том, насколько точны и дальновидны были его прогнозы, красноречиво говорит такой факт: в 1935 году Люби был арестован и предан суду за... разглашение в печати тайн французских военно-морских сил. Обвиняемому грозил немалый срок каторжных работ. За Люби вступились русские моряки. Бывший контр-адмирал Конов, создатель Амурской речной флотилии, выступавший на суде как военно-морской эксперт, сумел доказать, что свои прогнозы Люби строил, исходя только из личных знаний и опыта. Суд из шести офицеров, представлявших все рода войск французской армии, единогласно оправдал обвиняемого.

Собственно, на этом следы Люби во Франции для меня терялись. И только счастливый случай помог до конца выяснить его судьбу.

С севастопольцем Александром Михайловичем Агафоновым, активным борцом французского Сопротивления, я познакомился, когда работал над книгой «Севастопольские курсанты». Однажды, читая рукопись его воспоминаний, наткнулся на знакомую фамилию – Люби. Оказывается, бывший русский моряк тоже сражался в рядах французских подпольщиков. Он держал конспиративную квартиру, на которой довелось как-то укрыться и Агафонову. Люби хранил архивы, списки бойцов Сопротивления, помогал добывать бланки паспортов и пропусков... Пожилой, припадающий на раненую ногу, он вел опасную игру с гестапо.

– Когда в сорок втором наша группа «Бретань» была неожиданно арестована, – рассказывает Агафонов, – мы посчитали, что Люби нас выдал. Мы считали его предателем до тех пор, пока после войны не выяснилось, что списки нашей группы попали к немцам вместе со связным, которого они схватили на улице.

Сам же Люби был арестован и казнен в год освобождения его второй родины – в сорок четвертом.

Так закончилась одиссея капитана Люби.

К сожалению, книг его в наших библиотеках отыскать не удалось.

Под небом Парижа свела двух офицеров русского флота игра случая? воля Провидения? каприз истории? Две прихотливо сплетенные судьбы... Парижское подполье было последним общим узлом, связавшим нити их жизней.

Люби привел Петрова в одну из групп парижского Сопротивления. Так начал он свою вторую германскую радиовойну. Чем она закончилась для него – неизвестно. По одним сведениям, радист-маки был сожжен в Бухенвальде, по другим – мирно почил в бозе под Франкфуртом-на-Майне, где служил дьяконом в русском храме в Висбадене.

До Аляски он не добрался...

Если на погосте церкви Святой Елизаветы сохранилась плита Петрова, на ней следовало бы выбить надпись: «Здесь покоится сын трех стихий – моря, льдов и эфира, воин и пастырь Дмитрий Петров. Не Родина изгнала его. Но Родина помнит его».

Глава девятая

Запонка лейтенанта Жохова

Москва. Осень 1990 года

Как это называть? Живет себе человек, живет, крутится, вертится, стекла для балкона добывает, дочь в школу водит, и еще миллион всяких терзаний, забот, дел... И вдруг в житейской суете его умом, его душой овладевает одно случайное имя, ничего ему толком не говорящее... И он, вместо того чтобы думать о людях, родных и близких, о тех, кто входит в самый тесный круг его общения, сосредоточивается лишь на этом имени, на этом человеке.

Всякий раз, когда со мной это происходит, меня начинает корежить, как шамана, который вызывает дух давно исчезнувшего соплеменника.

Я понимаю, что отныне все насущные дела мои придут в упадок, потому что я буду узнавать, искать, собирать все о человеке по имени Петр Алексеевич Новопашенный, и когда его информационная аура сгустится настолько, что увижу – кто это, я пойму, мне откроется, зачем я искал, зачем тревожил его тень на том берегу Стикса...

Имя Новопашенного все же попало на скрижали истории, хотя оно процарапано на них весьма слабо. Цензоры двадцатых, тридцатых и всех последующих годов постарались и вовсе выскрести его: сначала убрали с морской карты, переименовав остров его имени, вычеркнули отовсюду, откуда могли, – из мемуаров, географических справочников, Морского атласа, научных статей...

Но имя человеческое невытравимо, как растение, что и под камнем пробьется. Не в одной, так в другой книге кто-то помянет моего героя.

Пожалуй, первым, кто это сделал, был «Дарвин» полярных экспедиций Вилькицкого, врач «Таймыра» А.М. Старокадомский. Открываю его книгу «Экспедиция Северного Ледовитого океана», 1946 год: «П.А. Новопашенный, назначенный в экспедицию на “Вайгач” после окончания Морской академии по гидрографическому отделению, проработал два года в Пулковской обсерватории и был одним из наиболее опытных гидрографов-геодезистов во флоте».

Немного, но все же... Из этой же книги узнаю, что существует отчет об экспедиции, написанный Новопашенным в соавторстве с Вилькицким и Старокадомским: «Плавание гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1913 году».

Прекрасно, значит, и в этих строчках живет человек.

Выписываю из спецхрана Ленинки морские журналы русской эмиграции. Листаю парижскую «Военную бль», пражский «Морской журнал», сан-францисские «Морские записки»...

Там строчка, тут строчка, словно искры отгоревшей жизни...

«Попал в плен к японцам под Гензаном на парусной шхуне в 1904 году...» Жил год в Японии. Ага, значит, вот почему и жасминовый чай, и дальневосточная экзотика Фронау!..

Советская монография «Моонзундская операция», 1928 год. Тираж 800 экземпляров. Автор – бывший сослуживец Новопашенного по Балтике барон А.М. Косинский, преподаватель Военно-морской академии РККА: «Переходя к службе связи, я ограничусь также отзывом адмирала Бахирева; “Начальник службы связи капитан 1-го ранга Новопашенный шел навстречу нашим нуждам, и просьбы наши им исполнялись, если к тому представлялась возможность. Разведок фактически мы производить не могли, но все же достаточно осведомлены были о движении и возможных намерениях противника из его телеграмм”.

Значит, после ухода адмирала Непенина Новопашенный возглавлял секретный центр русского флота по радиоперехвату и расшифровке переговоров германского флота. Знать бы

ему тогда, что не пройдет и трех лет, как судьба забросит его навсегда именно в Берлин, в стан бывшего врага.

Цитата из мемуаров капитана 1-го ранга И.И. Ренгартена об октябре 17-го, когда большевизированный Балтийский флот трещал по швам: «Бедный Новопашенный бьется как рыба об лед; до чего все развалилось — не может пройти гладко такая ясная вещь, как выставление поста службы связи, ибо в деле путаются и начальник, и комитет и мешают друг другу... Он ездил на Вердер и в Пернов, говорил по телефону с постами. С Залиса ему сообщали, что теплой одежды не надо присылать, ибо сухопутные войска отослали присланную им одежду: они не намерены зимовать и с первым холодом кончат воевать — пойдут по домам... Ну а что же тогда делать посту? Для кого наблюдать, если войско ушло? Логично». След бранных забот бранный человек...

А вот еще из той же работы: Новопашенный в 17-м председатель комитета Союза морских офицеров города Ревеля (СМОР), то есть глава офицерского профсоюза

Еще мне удалось выудить из архивов, что в 1916 году Новопашенный был командиром строящегося в Ревеле эскадренного миноносца «Константин». Еще раньше, сдав «Вайгач» в 15-м году, принял эсминца «Десна». Что родился он в 1881 году, 6 марта, то есть под знаком Рыб, всю жизнь был холост. Православный. Штурман 1-го разряда. Кавалер орденов Анны IV степени за храбрость, Анны III степени с мечами, Анны II степени и Владимира IV степени.

Из разных источников выяснилось, что в 1919 году Новопашенный служил в красном Питере в качестве главного редактора «Морского сборника». В том же роковом году каким-то образом перебрался в белый Ревель, возглавив там отделение разведки в Морском управлении Северо-Западной армии.

Я решил повторить свой берлинский опыт и разыскал в справочнике «Весь Петербург» за 1912 год домашний адрес Новопашенного: ул. Большая Зеленина, дом 31... На этой же улице в доме № 3 квартировал и его соплавателъ — лейтенант Колчак Новопашенный жил ближе к Большому Крестовскому мосту через Малую Невку — на углу Барочной улицы.

Старая, темного кирпича пятиэтажка с красивой некогда шлемоверхой угловой башней не смогла ничего сообщить о своем загадочном жилье, ушедшем отсюда в Арктику, да так сюда больше и не вернувшимся. Да и не до жильцов ей, предназначенной на слом, сейчас было, как не было и жильцам дела до ее обветшавших стен и забитого фанерой окна в романтической башне. По иронии случая прирос к дому гриль-бар «Аляска», будто напоминая, что хаживал Петр Алексеевич и на Аляску...

Однажды я узнал, что в Севастополь пришла посмертная посылка из Парижа от хранителя архива кают-компаний русских офицеров Николая Павловича Осгелецкого. Бывший севастополец завещал родному городу редчайшие комплекты морских журналов, выходивших в разных странах, куда забрасывала эмигрантская доля офицеров российского императорского флота

Я листал их с душевным трепетом — передо мной лежали судьбовестные книги. Списки зарубежных кают-компаний. Розыски близких, друзей, сослуживцев. Скорбные листы флотского мартиролога: погибли в Гражданскую, расстреляны большевиками, сгинули на чужбине... Сотни фамилий, имен, чинов. Цвет и соль русского флота.

До отхода московского поезда оставался час Вещи были со мной, и я решил сидеть в музее до последнего. Оставались пять минут из отмеренного срока, а имя Новопашенного так и не попадалось.

«Ну помоги же! — молил я его. — Ведь помог же мне в Берлине. Теперь себе помоги!»

Его судьба открылась, как счастливо снятая карта. За минуту до того, как захлопнуть «Бюллетень общества офицеров российского флота в Америке», в раскрытом наугад августовском номере за 1956 год читаю чуть видные строки: «Новопашенный Петр Алексеевич,

капитан 1-го ранга, скончался в октябре 1950 года, по-видимому, в пересылочном лагере в Орше. Был схвачен большевиками в Тюрингии при неожиданном отходе американских войск».

Ворошение старых эмигрантских журналов не прошло без пользы. В одном из номеров «Морских записок» я случайно открыл статью Николая Транзе. Она захватила меня своим непридуманным драматизмом и, увы, реликтовым благородством. Привожу ее с незначительными сокращениями.

«Капитан 2-го ранга Н.А. Транзе 2-й
ВО ЛЬДАХ ТАЙМЫРА
от редакции “Морских записок”»

В 1913 году экспедиция под командой капитана 1-го ранга Б.А. Вилькицкого, состоявшая из ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», выйдя из Владивостока в поисках северного морского пути на запад, открыла ряд новых земель и островов, после чего вернулась во Владивосток. Этот же поход был повторен летом 1914 года, причем они дошли до Таймырского полуострова, но тяжелый лед принудил корабли встать на зимовку у мыса Челюскина. С наступлением полярной ночи старший лейтенант А.Н. Жохов, незадолго до этого переведенный с «Таймыра» на «Вайгач», тяжело заболел. Через несколько дней, когда выяснилось, что дни его сочтены, А.Н. Жохов выразил желание повидаться перед смертью со своим другом, старшим лейтенантом Н.А. Транзе, старшим офицером «Таймыра».

С «Вайгача» была послана радиogramма, извещающая, что Жохов очень болен и просит Транзе навестить его...

По получении этой радиogramмы я пошел к начальнику экспедиции за разрешением взять двух-трех матросов-добровольцев для похода налегке на «Вайгач». Разрешение было получено... Иду в командное помещение, читаю радиogramму, объясняю мое положение как ближайшего друга Жохова. Рисую обстановку и условия пути, мое намерение покрыть расстояние до «Вайгача» в один день и предлагаю желающим разделить со мной трудности похода. Расстояние между кораблями было всего около 16 миль, но это было пространство, почти сплошь изрезанное торосами, образовавшимися еще поздней осенью, когда зимующие корабли дрейфовали на севере с постоянно взламывающимися ледяными полями, в которые они вмерзли...

Осенью этот переход партий с «Вайгача» на «Таймыр» занял несколько дней, так как на всем протяжении пути между обоими судами почти не встречалось ровных ледяных полей.

Вызвал охотников. Оказалось, их много. Выбрать было нелегко, но жалко отказывать энтузиастам. Поторопив их с приготовлениями, пошел налаживать санки, провизию, палатку, снаряжение. Все было предусмотрено, и при возможном минимуме веса. Собравшись, мы тронулись.

Была еще полярная ночь, не считая нескольких минут восхода солнца около полудня над горизонтом; температура около 45° и ниже; не ветрено.

Мой план был прост: идти, пока не встретим препятствия – трещину во льду, которая из-за своей ширины нас остановит.

Шли мы долго, без остановки и еды. Я шел впереди по компасу и звездам, мои спутники тянули санки. Наконец высокий торос, а за ним – трещина. Перейти ее нельзя было, оставалось ждать, когда она подмерзнет. Пока разбивали палатку и готовили харч, я пошел вдоль трещины, из которой шел густой пар...

Недалеко от остановки я обнаружил небольшой осколок льдины в трещине, образующий как бы островок в ней. Всюду вода замерзала на глазах.

Довольный своим открытием, я вернулся в палатку, достал из своего мешка жестяную банку с водкой, которую я сознательно, вопреки нашим правилам, захватил с собой для этого «ударного» похода, и начал наливать ее в рюмку. Не тут-то было: ни капли, а банка тяжелая.

Водка замерзла! В первый раз в жизни пришлось водку не замораживать, а оттаивать на примусе, чтобы сделать по рюмке перед едой. Быстро похарчив, подошли к месту моего ледяного “островка”.

Надев лыжи, я по только что образованному льду перескочил на него, а с него тем же приемом и на другую сторону трещины. Привязав кусок льда к захваченной с собой для этой цели веревке (да простят мне моряки это слово), я ее перебросил своим спутникам и перетянул санки на свою сторону. Тем же приемом помог и им присоединиться ко мне.

Пошли дальше. Шли без остановки. На ходу перехватили шоколад и сухари.

Наконец, по моим расчетам, мы прошли все расстояние, а огня с мачты “Вайгача” не видно. Подыскав вблизи высокий торос, все мы взобрались на него – огня нет. Что делать? Стало ясно только одно: решение должно быть принято на месте.

Разбили палатку, опять “разогрели” водку, поели, согрелись горячим чаем

Стал вслух обсуждать наше положение, делясь всеми деталями со своими спутниками. Первое: курс на “Вайгач” я держал очень точно, значит, из-за компаса большой ошибки в направлении быть не может. Второе: расстояние Его на глаз здесь, конечно, не оценишь, но на мне были три педометра: один на поясе, один в кармане, один на торбазе. Еще задолго до болезни Жохова я тренировал себя при прогулках по льду.

Таким образом, и второй вопрос, вопрос расстояния, тоже не вызывал сомнений.

Оставался третий фактор – метеорологический.

Не развернуло ли ветром наше ледяное поле во время нашего похода так, что курс изменился? Иначе говоря, если считать отходную точку “Таймыра” неподвижной, не изменился ли пеленг от нее на “Вайгач”? Другой причины не было и быть не могло.

Приняв разворот ледяных полей за единственную возможность, мы задались вопросом: а в какую сторону он мог произойти? К западу или к востоку? Решение этого вопроса стало кардинальным.

“Таймыр”, будучи ближе к берегу, если под все усиливавшимся ветром и разворачивался со своим полем, то меньше, чем “Вайгач”. Это привело меня к выводу: расстояние мы прошли, но находимся к востоку от “Вайгача”. Насколько? Неизвестно, но я не предполагал его большим. Разобравшись, таким образом, в обстановке и условиях похода, я честно объявил своим компаньонам о трудности нашего положения.

Находимся мы на огромном ледяном просторе, темнота почти круглые сутки, сугубые морозы, небольшой запас провизии и керосина Непогода – пурга или метель, всегда возможные в это время, – может быть губельной, следовательно, времени терять нельзя.

Идти дальше вперед на север рискованно. Если расстояние пройдено, ухудшается возможность увидеть огонь на “Вайгаче”. Идти на восток кажется сомнительным, а потому может оказаться тоже рискованным. Остаться на месте просто нет смысла и тоже может стать формальным по мере истощения запасов.

Остается одно направление – на запад.

Однако, ввиду того что это лишь логический вывод, я, не считая себя вправе подвергать своих спутников этой опасности, предложил свой план: они остаются в палатке на месте. Из связанных лыж делают мачту, на которую прикрепят керосиновый фонарь. Я пойду прямо на запад в поисках клотикового огня “Вайгача”. Если увижу его скоро, вернусь на их огонь и вместе пойдем на “Вайгач”. Если я увижу огонь не скоро, то есть расстояние от “Вайгача” будет для меня ближе, чем возвращаться к ним, я пойду на “Вайгач”, а за ними придет партия с корабля. Если же я огня вообще не увижу, я возвращусь обратно к ним, и то же самое сделаем в направлении на восток.

Сильно подчеркнул им, что сама судьба их может зависеть от их огня на лыжной мачте...

Взяв шоколад, сухари и винтовку, а также кинжал из своего мешка – браунинг для этого похода у меня был в кармане, – я сказал моим сотоварищам: “До скорой встречи”, – и пошел один в темноту, на запад. Отсутствие теней сильно мешало: не было видно ни впадин во льду, ни выстрелов на нем Часто падал.

При сильном морозе раздавался порой треск льда и торосов. Шел целый час, не видя огня по курсу. Встаю на торос, вливаюсь глазами в горизонт – огня нет. Штурманским чутьем прикидываю в уме: чему равен угол пройденного от палатки расстояния – миля или полторы, при пробеге от корабля в 15 миль? Получаю около 5°. Величина угла смутила меня, но в то же время указывала, что если взятое мною направление верно, то “Вайгач” уже недалеко от меня. Решил идти дальше. Чаще и чаще всхожу на вершины торосов – огня нет. Вдруг мозг пререзает краткая фраза телеграммы с “Вайгача”, полученная нами накануне выхода: “Будьте осторожны, сегодня впервые видели следы медведей”.

Холод пробегает по спине, нервное воображение разыгрывается. При неожиданном треске льда вблизи невольно сжимаешь винтовку, трогаешь кинжал, браунинг. Рисуется нападение медведя и как я, пустив в ход кинжал и браунинг, хотя и с сильным повреждением для себя, справлюсь с ним. Вот когда я пожалел, что не было со мною моей чудной чукотской лайки Чукчи, которую я оставил на “Вайгаче” при переводе на “Таймыр”. Ведь медведь меня может учуять издалека, в то время как я узнаю о его присутствии уже будучи под ним. Время течет убийственно медленно. Проходит еще полчаса, а огня нет! Начинаю сомневаться в логике своего размышления в построении плана действий. Впервые закрадывается сомнение: а не на восток ли надо было идти? Подсчитанный в уме угол расхождения курса увеличивает сомнения. Не повернуть ли к палатке, пока не поздно? Решил, однако, пройти ещё с полчаса. Очень тяжелы были эти последние полчаса! Медведи, сомнения, ошибка в расчете, неизбежная гибель партии и самого себя, если теперь не найду ни того, ни другого огня, – все это навязчиво сверлит в мозгу. Беру себя в руки, успокаиваю свои нервы. Вновь встаю на вершину, и... прямо по курсу и недалеко открылся огонь!

Почти побежал на него. Он постоянно от меня скрывался за торосами и часто пропадал.

Поднявшись на верхнюю палубу “Вайгача”, я неслышно спустился в кают-компанию. Надо было видеть изумление моих друзей, увидевших меня одного!

Внеся холод полярной ночи в теплое помещение корабля, я, разоблачась, объяснил Неупокоеву, где оставил своих компаньонов, расстояние до них, направление, огонь на мачте-лыже, условия льда и т. д. Сейчас же партия с Неупокоевым и Никольским, захватив собак, отправилась на поиски моих верных сподвижников этого незабываемого, в полярную ночь, путешествия! Ударный переход был сделан меньше чем в сутки.

Через несколько часов мы были все вместе, а до этого я уже сидел в каюте своего больного друга Жохова.

Застал я его в тяжелом положении и физически, и морально, не потому, что он жаловался на что-нибудь, а потому именно, что он уже не на что не жаловался и был в состоянии апатии почти все время в течение тех дней, что я провел с ним до его кончины.

Ушел он в экспедицию женихом Жил мечтой о невесте, свадьбе, встрече, будущей жизни. Теперь же, когда мне порой удавалось навести его мысли на то, что было так дорого ему, он на минуту оживлялся, чтобы потом еще глубже впасть в апатию, выявляя полное безразличие ко всему.

Он просил меня похоронить его на берегу, вытравить на медной доске написанную им эпитафию и повесить ее на крест, сделанный из плавника, с образом Спасителя – благословения его матери.

Все это мною было свято выполнено.

Жохов был большой поэт, и еще в Морском корпусе он писал стихи и посылал их в периодические издания под разными псевдонимами, где никогда не отказывали ему в печа-

тании. А писал он большею частью тогда, когда мы оба, сидя хронически без отпуска и без денег, мечтали о калаче, масле, икре для компенсации скудного корпусного обеда или ужина

Свою эпитафию Жохов написал еще до моего прихода на “Вайгач” и сам прочел ее мне, сделав последние поправки.

Под глыбой льда холодного Таймыра,
Где лаем сумрачный песец
Один лишь говорит о тусклой жизни мира,
Найдет покой измученный певец

Не кинет золотом луч утренней Авроры
На лиру чуткую забытого певца —
Могила глубока, как бездна Тускароры,
Как милой женщины любимые глаза.

Когда б он мог на них молиться снова,
Глядеть на них хотя б издалека,
Сама бы смерть была не так сурова
И не казалась бы могила глубока.

Пророческими оказались слова его: он умер, не видя восхода солнца, в долгой полярной ночи.

Вечная память другу, честному человеку, недюжинному поэту, достойному офицеру!

По окончании приготовлений к погребению и с первой же сносной погодой гроб с покойным Жоховым, покрытый Андреевским флагом, со скрепленным палахом и треуголкой на крышке, доставили сперва на “Таймыр”, что было нелегко, а оттуда к месту захоронения на западе Таймырского полуострова

Матросы “Вайгача” напрягали последние силы, таща тяжелые сани с гробом по торосистому пути. Все они добровольно вызвались помогать и этим воздать свой последний долг умершему. Мои матросы с “Таймыра” вместе со мной присоединились к общим усилиям этой драматической погребальной партии.

Подкрепление с “Таймыра”, обнаружившего на горизонте похоронное шествие, было вовремя.

Первое желание умирающего Жохова было быть погребенным в море, подо льдом, на месте зимовки “Вайгача”. Мотив его был: нежелание доставить какую-либо излишнюю физическую тяжесть экипажу корабля, а тем паче совершать путешествие с его гробом по торосистому ледяному покрову до берега. Мои возражения этому мотиву, дружная и сердечная атмосфера последних дней его жизни, проведенных вместе в его каюте, изменили его желание — он просил похоронить его на берегу.

Рытье могилы оказалось невероятно сложной задачей. Больше того, совершенно неожиданной по своим трудностям задачей для всех нас. Мы знали о вечной мерзлоте все, что было известно по этому вопросу в то время. Оказывается, мы ничего не знали. Не знали ее природу, ее свойства и практически не имели о ней никакого понятия.

Вопрос был простой: вырыть могилу достаточной глубины, чтобы полярные медведи и волки не могли бы достать гроб. Казалось бы, орудия для этой цели — лом, кирка, лопата — все, что надо. Идя на берег, мы и забрали их в достаточном количестве. Не тут-то было. Ломом или киркой откалывали лишь незначительные куски этой вязкой массы смерзшейся земли и воды; здесь лопаты оказались совершенно излишними.

Несколько часов напряженной работы показали полную бесплодность наших усилий вырыть могилу. А вырыть мы должны были. Что делать? Решили передохнуть, попить чаю.

В партии был душа-человек, матрос Попков, очень славный, добрый, симпатичный и преданный. Попросил его вскипятить воду из снега в примусе. Надо заметить, что снег в Арктике мелкий, сухой, но ветром скатан в изумительно плотную, компактную массу. Его легко можно резать ножом или пилить пилой, он не рассыпается.

Чтобы укрыться от холодного, пронизывающего ветра, все мы забрались в один из ящичков из-под нашего злосчастного гидроаэроплана, который вскоре был с большой пользой переделан в аэросани. Ящички же, хранившие и гондолу, и крылья, были с началом зимовки перетащены с большим трудом с корабля на берег. В них было устроено депо провизии на случай гибели корабля.

Стали обсуждать вопрос о могиле. Как вырыть ее? Продолжать работу ломом и киркой – это решение было бесповоротно отброшено. Я предложил попробовать взрывать грунт подрывными патронами, несколько штук коих были взяты на всякий случай с корабля. Сделав небольшое отверстие в уже пробитом грунте – а глубокого мы сделать не могли, – заложили патрон и взорвали его. Результат – самый печальный. Более мелкие куски мерзлоты, точно труха, были выброшены в незначительном количестве вверх из отверстия, превратившегося в неглубокую и неширокую воронку. Стало очевидным, что и этот метод непригоден.

Пошли в ящик продолжать пить чай. В это время Попков, обращаясь ко мне, говорит, что ему “заморозило палец”, когда он прикоснулся голой рукой к металлическому поршню помпы примуса. Не придавая этому значения, ибо все мы порой имели отмороженными пальцы или носы, а чаще всего уши и щеки, я сказал ему, чтобы растер отмороженный палец снегом, и продолжал обсуждать с Неупокоевым и Никольским столь неожиданно для нас вставшую проблему. В это время Неупокоев, сидевший лицом к Попкову, обратил внимание, что тот растирает отмороженный палец о глыбу снега, которую он выпилил, и внес в ящик для чая. Подойдя к нему, мы увидели, что уже не один, а четыре пальца отморожены до последнего сустава.

Сняв рукавицы, мы вдвоем поочередно стали растирать снегом его отмороженные пальцы.

Растираем четверть часа – успеха ни на йоту. Пальцы Попкова как культишки, по его выражению: твердые, как камень, белые, при тряске кисти издают звук удара кости о кость. Дело плохо, тем более что при морозе ниже -40° , да со снегом в руках, наши пальцы начинают мерзнуть, несмотря на то что мы постоянно засовывали их за пояс, отогревая на животе. Что делать? В этом виде Попкова оставить нельзя.

Я снял с себя очень мягкий внутренний чулок торбазы, то есть мехового сапога, и мы начали поочередно растирать им пальцы Попкова.

Растирали не меньше часа, пока стали сказываться результаты, а сказались они только тогда, когда вся кожа этих пальцев была содрана и пальцы стали кроваво-красными (но не кровотоочивыми), сильно распухшими, но мягкими.

Убедившись, что немедленной дальнейшей опасности Попкову нет, а, наоборот, он нуждается в скорой медицинской помощи, мы, обернув кисть в чистый носовой платок и меховые перчатки, завернули ее еще в мой кожаный чулок и с провожатым отправили больного на корабль.

Много недель прошло, пока доктор закончил ампутирование ему гангренозных пальцев, отвоевывая сустав за суставом.

Во время инцидента с Попковым пришло и решение нашей задачи. Испробовав все, решили, что единственно, чем мы сможем добиться достаточной глубины могилы, – это вырубить ее в мерзлоте топорами.

С Попковым я послал распоряжение доставить на берег все топоры 'Таймыра' и точильное колесо. Когда топоры прибыли и мы начали высекать ими мерзлоту, дело стало спориться, но топоры тупились ежеминутно.

Когда гроб был привезен и с молитвой опущен в могилу, ружейным залпом мы отдали почесть усопшему товарищу».

* * *

Так в орбиту моих поисков вошли эти два имени – Алексей Жохов и Николай Транзе. Оба они сделались мне близки и интересны так же, как и их командир Новопашенный. И я стал выкликать из небытия и их души.

Прямых потомков у Жохова не было – лейтенант ушел из жизни женихом. Но были боковые ветви – братья, сестры, кузины, племянники... Расспрашивал о Жохове всех, с кем случай сводил и в Питере, и в Севастополе, и в Москве. Не тот, не тот, не тот...

У океана печатного тот же нрав, что и у морской стихии: можно годами бороздить и тралить его глубины, а он однажды возьмет да и выбросит по воле волн на берег-стол то, что ты и представить себе не мог...

Ну откуда мне, москвичу, было знать, что в те самые дни, когда я выживал в объединяющемся Берлине, ленинградская «Вечерка» опубликует очерк «Запонка лейтенанта Жохова»?¹¹ И каким чудом вырезку из газеты занесло ко мне на Преображенку?! Но ведь занесло!

Впиваюсь в статью... Вот и о Новопадшем: «Ледоколом “Вайгач” командовал один из лучших гидрографов флота Петр Алексеевич Новопашенный, сменивший первого командира – известного полярного исследователя А.В. Колчака. Новопашенный был старше Жохова и уже награжден орденом за храбрость при участии в Цусимском сражении».

Вот нечто новое о Жохове:

«Алексей Николаевич Жохов, правнук героя войны со Швецией и Англией капитана Г. Невельского...» Тут бы акцент сделать на первопроходческих, исследовательских заслугах адмирала Невельского – ведь именно они и снискали ему славу... Правнук вполне поддерживал ее. Их имена – на одной карте...

Но все-таки – запонка. Ее лейтенант Жохов забыл в либавском доме своего земляка-костромича, флотского генерала Ратькова¹². Это случилось, по всей вероятности, в 1910 или 1911 году, когда лейтенант Жохов еще служил на линкоре «Андрей Первозванный». Историю этой вещицы поведала журналистке дочь капитана 1-го ранга Ратькова Марина Константиновна:

«Алексей Николаевич Жохов бывал у моего отца, председателя старейшин Морского корпуса, по делам службы. Я была тогда совсем девчонкой. Но помню, как старшая сестра Елизавета не скрывала своего восхищения молодым красавцем-лейтенантом. Она и сохранила этот маленький сувенир, который Жохов случайно обронил у нас. Был и его портрет, подаренный нашему отцу, но, к сожалению, пропал во время блокады».

Я узнал адрес Ратьковой и позвонил ей в Питер, поинтересовался, нельзя ли взглянуть на эту легендарную запонку.

– А ее у меня нет.

– ?!

– Я вернула ее законному наследнику: Алексею Дмитриевичу Жохову, племяннику. Он живет у вас в Москве. Можете ему позвонить...

¹¹ Вечерний Ленинград. 1990. 13 июля.

¹² В Русско-японскую войну – старший офицер крейсера «Баян».

И я звоню. И вновь чудо: траектория жоховской судьбы проходит через мой кабинет. Алексей Дмитриевич Жохов, немолодой, высокий, плотный мужчина, пожаловал на чашку чая. Нам есть о чем поговорить – ему рассказать, а мне послушать... Он, как и дядя, тоже гидрограф, недавно вернулся с Таймыра, был на мысу Могильном, где похоронены лейтенант Жохов и кочегар Ладоничев. Льды подрезали мыс так, что обе могилы под угрозой обвала. С креста Жохова кто-то стащил иконку... Надо бы перенести оба захоронения в глубь полуострова. Но как? Добраться туда можно только вертолетом из Диксона. А это деньги, бумаги, визы, разрешения, резолюции. Нужны добровольцы, спонсоры, силы и здоровье...

В конце разговора Жохов достал наконец легендарную запонку. Та самая, что описана в газете, – перламутровая, с коралловым глазком. Из морских материалов. Я зажал ее в ладонях.

Как странно – такая безделушка, а пережила своего хозяина и будет жить еще и век, и другой... Неужели это все, что осталось от той жизни?! Остров на карте. Еще озеро. Несколько фотографий. Запонка... От иных и надгробья-то не осталось...

– Эх, сколько информации спрессовано в этой вещице! Если бы она могла говорить...

– А мы попробуем ее разговорить, – усмехнулся Жохов. – Дайте-ка нитку.

Он подвесил запонку и вытянул руку над расстеленной на столе картой Союза. Запонка стала медленно раскачиваться над кружочком Москвы. Я почти не сомневался, что она отклонится в сторону Таймыра: туда, где покоится прах ее хозяина. Но маятник пошел в другом направлении – перекрестном, – вдоль северо-западного румба. Я наложил линейку, она пролегла от Москвы через Таллин.

– Вот вам и направление поиска, – еще раз усмехнулся Жохов. Отвязав запонку, он бережно упрятал ее в футлярчик.

«Упорно грезится мне Ревель...»

Ленинград. Ноябрь 1990 года

В Ревель-Таллин мне случилось ехать через Ленинград, с любимого Балтийского вокзала. Но прежде, в московской «Красной стреле» моим соседом по купе оказался не кто иной, как начальник Главного управления навигации и океанографии вице-адмирал Юрий Иванович Жеглов. (Обычная дорожная случайность?) Незадолго до революции этот пост занимал отец командира «Таймыра» и начальник РЭСЛО Андрей Ипполитович Вилькицкий. О нем и разговорились.

– А мы тут взяли и восстановили своими силами, – рассказывал Юрий Иванович, – надгробие Вилькицкого на Смоленском кладбище. Плиту подновили, оградку укрепили, якорные цепи повесили. Загляните при случае.

Я и заглянул. Среди всеобщего гранитного повала, гниющих сучьев и прочей мерзости запустения, воцарившейся в этом старинном российском некрополе, сверкали на обновленном граните золотые буквы: «Вилькицкий». Радовался я недолго.

Отправился на Литейный посмотреть Мириинскую больницу, где всю жизнь проработала Нина Гавриловна Жохова. Больница с историей и с архитектурой. Сам Кваренги создавал ее проект в начале XIX века. Предназначалась она для простого люда. Когда-то перед фасадом главного корпуса стоял памятник основателю больницы, попечителю многих благотворительных учреждений, человеку доброй и щедрой души – принцу Ольденбургскому. «Он был изображен, – сообщает старый путеводитель, – словно склонившимся к просителю, в чем-то нуждающемуся человеку». После революции принца, разумеется, убрали, а постамент декорировали медицинской эмблемой: чашей со змеей... Бронзовую змею только что отодрали и похитили в очередной раз.

Вандализм в Питере ранит особенно больно...

Я вошел под старинные своды. Вот здесь, за окошечком регистратуры, Жохова и работала.

Ужасная работа – день-деньской искать на полках медицинские листы. Такой работой пугают нерадивых школьников. А она, дворянка, институтка, дочь флотского генерала, красавица, всю жизнь просновала мимо этих бесконечных стеллажей. И кто-то в очереди к ней на что-то сердился, понукал, помыкал ею – и конечно же не догадывался, что эта седенькая бабуся была когда-то полярной музой морского офицера, что это в ее глаза мечтал заглянуть он перед могилой, что это в них таится бездна Тускароры...

Тристан и Изольда, Орфей и Эвридика, Мастер и Маргарита... Но это литературные герои. А тут – живые люди: Алексей и Нина Пример непридуманных судеб поражает глубже, особенно тех, кто какого к ним причастен. Какая мощная вспышка духа озарила эту пару, если уж без малого век о них помнят, говорят, думают, пишут; если глубокие старцы читают наизусть строки чужой любви и они греют их. Быть может, и в наше время размытых чувств свет той оборванной любви послужит кому-то путеводной вехой, как помогает крест лейтенанта Жохова узнавать полярным капитанам берега в арктическом тумане.

Бог не дал им продлить свою жизнь в детях. Но... но кровь Нины Жоховой еще бежит в чьих-то жилах. В войну, в блокаду (!), она была донором. Сколько людей спасла ее «красная руда»? Сколько душ спас от тлена пошлости и распада погребальный сонет ее жениха?

Да пребудут они в нас всегда – Нина и Алексей, разлученные и связанные общей фамилией.

Небо Арктики. Ноябрь 1990 года

...Серебристая десница самолета занесена над белым простором. Северный океан с высоты выглядит взморщенным голубым киселем... А вот и первые льдины. Они белеют толченой скорлупой. Очень скоро голубое исчезнет под белым – пошла сплошная заснеженная равнина. Ледовитый океан плывет под крылом растресканный, словно бок гигантского белого кувшина. Трещины: от волосяных линий первого надлома до рваных промежутков разбитых вдребезги кусков. Изломы иных длинны и извилисты, словно реки; зигзаги других расчерчены по линейке...

Самолет полярной авиации держит курс к проливу Вилькицкого. Мы летим вдоль Главного Северного морского пути. Я пытаюсь представить себе, каким он открывался с обледеневших мостиков «Таймыра» и «Вайгача».

Белые льдины, надломленные кованым форштевнем, нехотя расступались, точно раздвигались заколдованные ворота неприступного чертога. И корабли переходили из одного зала в другой, из бухты в бухту, из моря в море, а ледяные створки сходились за кормой и, кто знал, может быть, навсегда замыкали путь назад. А путь вперед мог пресечься в любую минуту – сомкни студеной океан свои ледяные челюсти чуть сильнее, и все. И он сомкнул, и вмерзли ледоколы на всю стосуточную ночь...

* * *

Дороги – русла, по которым течет время человечества. На заре цивилизации русла исторических событий совпадали с руслами Нила и Евфрата, Ганга и Днепра, Волги и Янцзы... С веками время людей выплеснулось и на морские трассы.

Северный морской путь – из разряда столбовых дорог прежних поколений – как Великий шелковый путь или путь «из варяг в греки». Увы, он еще и самый опасный для освоения.

У Фритьофа Нансена – железные нервы. Но и он назвал Арктику «страной льда и ночи, страной ужаса и смерти».

Велик и во многом безымяннен мартиролог этого пути смельчаков, авантюристов, капитанов полярной удачи.

Когда и кто открыл скорбный список? Английский капитан Хью Уиллоби? Отчаянный Хью, который повел три своих корвета в вожделенную Индию мимо сибирских берегов? Он сам и оба его корабля сгинули во льдах Арктики, не перейдя и первого Студеного моря, которому капитан Баренц еще не дал своего имени. Два экипажа вымерзли в скалах Мурмана, спалив обломки своих кораблей на кострах. И только третий корвет добрался до устья Северной Двины, и оттуда санным путем «ходоки в Индию» добрались до Москвы.

Но и несчастный Уиллоби, и итальянец Джон Кабот¹³, увлекший английского капитана безумной идеей, и русский посол в Риме Герасимов, впервые эту идею высказавший во всевропейское услышание, были правы. Кратчайший путь из Европы (Англии) в Индию лежал через... Ледовитый океан. Величайший морской тракт цивилизации (Европа – Индия) мог быть намного короче, а значит, и деловой ток всего человечества мог быть ускорен. Это ли не задача для рыцарей духа, прогресса и воли?

Увы, их было не так много в обширном человеческом племени. Раз в столетие находился новый «Уиллоби», который решался бросить жизни своих экспедиционеров (вместе со своей собственной) на игровое поле ледовой рулетки.

XVI век – капитан Баренц Дальше Новой Земли пробиться не удалось.

XVII век – Петр Великий. Послал суда в Японию Северным путем. Дальше устья Оби не пробились.

Чуть позже (после смерти Петра) экспедицию повторили. И – о удача! Офицер русского флота датчанин Витус Беринг прошел под парусами весь путь ледяных капканов, открыл пролив, достойный восторгов, почестей и славы, выпавших Магеллану. Пролив соединял два океана – Ледовитый и Тихий, его берега отделяли Евразию от Америки, и эти новые врата человечества вели в Индию короче и быстрее, чем лабиринт Магеллановой протоки.

Виват, Витус Беринг! По его пути устремятся десятки судов... Но только спустя полтора десятилетия шведу Норденшельду на паровом зверобое «Вега» удастся прорваться в Тихий океан. И то не сразу. Всего в ста милях от Берингова пролива «Вега» вмерзла в лед и зазимовала. Зато в июле 1879 года Нильс Норденшельд мог смело считать себя чемпионом трехсотлетней арктической эстафеты: его пароход, оставив за кормой льды «океана без кораблей», вошел в воды Тихого океана, связав их оба в историях мореплавания нитью единого рейса.

Впрочем, Арктика оставляла равноценные лавры и для тех, кто смог бы повторить этот путь в ином направлении – с востока на запад. Вот они-то и выпали на долю Вилькицкого и его экспедиции спустя 36 лет.

Как бы ни обвиняли царское правительство в рутине и недалековидности, но именно оно положило начало государственному освоению Великого Северного пути.

При нашей любви присваивать всему, что бы ни было, громкие имена Главный Северный морской путь вполне мог носить имя Колчака. Ведь именно Колчак, как в свое время адмирал Макаров, задумал и разработал специальный тип арктического судна – ледокольный транспорт. Под его наблюдением в Петербурге строились «Таймыр» и «Вайгач». Именно он повел их к месту старта – во Владивосток. Потом уже запущенное им дело вершилось без него. Но до последних дней жизни компасная стрелка души его смотрела на Север.

¹³ Джованни Кабото.

Глава десятая

Прикол-звезда

«У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России.

Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель».

Так писал о нашем герое Владимир Максимов.

Имя этого человека, брошенное на весы Фемиды, еще не остановило их чаши.

За семьдесят послереволюционных лет злых и бранных слов об адмирале Колчаке сказано не меньше, чем восторженных за сорок шесть лет его жизни.

За два года до гибели у него была возможность сказать «нет», и тогда бы жизнь его продлилась, а имя украшало бы географические справочники, борта кораблей, титулы книг и уличные таблички. Но он сказал «да» и выбрал тот путь, который на Руси издавна метился грозным перепутным камнем: «Прямо поедешь – убитому быть...» Да и мог ли он выбрать кружную дорогу, когда только по прямой лежал путь к главной цели его жизни – к Южному полюсу?!

Как бы там ни было, но из истории Севастополя его имя не вычеркнуть, как не вымарать его из ледяных скрижалей Арктики.

Александр Васильевич Колчак родился 4 ноября (по старому стилю) 1874 года в Петербурге на казенной квартире служащего Обуховского завода.

«Отец мой, – сообщал Колчак в протоколах допроса, – Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем был на уральском Златоустовском заводе, после этого служил приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, то остался на этом заводе в качестве инженера или горного техника...»

Мать моя – Ольга Ильинична, урожденная Посохова. Ее отец происходит из дворян Херсонской губернии. Мать – уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи...» Тут надо было бы добавить, что из семьи не просто дворянской, но и морской, давшей русскому флоту двух адмиралов.

Отец же, семнадцатилетним юнкером флота, участвовал в обороне Севастополя, и не где-нибудь, а в ее страшном пекле – на Малаховом кургане. Там он стоял на гласисной батарее¹⁴, что располагалась впереди башен. «С 15 апреля по 27 августа, стоя помощником батареинного командира, за сожжение огнем гласисной батареи 4 августа фашинов и туров во французской траншее награжден знаком отличия Военного отряда (солдатским “Георгием”. – Н. Ч.). В бою на Малаховом кургане 27 августа контужен, ранен и взят в плен».

В 1899 году Василий Иванович опубликовал свои воспоминания «На Малаховом кургане».

Вообще, корни рода Колчаков уходят в Боснию. Прапрадед адмирала – турецкий генерал Колчак-паша (имя его в переводе – «боевая рукавица») был пленен в бою под Хотинском (1739) русским фельдмаршалом Минихом. Колчак-паша, встретив в России весьма доброе к себе отношение, нашел в ней вторую родину, и даже получил от императрицы Анны Иоанновны небольшое имение. Спустя полтора века его праправнук, командуя Черноморским флотом России, поставит Блистательную Порту на грань поражения.

¹⁴ Гласис – земляная пологая (в сторону противника) насыпь впереди наружного рва укрепления.

Звезда Александра Колчака начала свой взлет уверенно и круто. В Морском корпусе он шел все время первым или вторым. Блестяще окончил его в девятнадцать лет, получив премию адмирала Рикорда. «Гардемарин Колчак, – отмечал современник, – был серьезным, высокоодаренным юношей с живыми, выразительными глазами и глубоким грудным голосом». Он кончил корпус фельдфебелем, вторым по старшинству своего выпуска, с премией в 300 рублей, и был произведен в чин мичмана в 1894 году.

«Во время моего первого плавания, – вспоминал Колчак, – главная задача была чисто строевая на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами. Я готовился к южнополярной экспедиции, но занимался этим в свободное время: писал записки, изучал южнополярные страны. У меня была мечта найти южный полюс...»

Не флаг флотоводца, не лавры политика манили молодого офицера. Многие ли из нас в его годы ставили перед собой равновеликую цель?

Ученые записки Колчака высоко оценил адмирал Макаров. Степан Осипович нашел эти труды замечательными и представил их в 1899 году императорской Академии наук. А двадцатипятилетний лейтенант исправно нес свои вахты на броненосце «Петропавловск», том самом, на котором столь трагично кончит свой век его высокий покровитель. «Петропавловск» шел навстречу своей еще нескорой гибели – через Гибралтар, Суэц в Порт-Артур. Но судьба его вахтенного начальника уже решилась. На стоянке в Пирее Александра Колчака разыскал известный русский географ Эдуард Толль, который тоже не чуял своей близкой смерти в белом безмолвии.

«Здесь (в Пирее. – Н. Ч.), – пишет Колчак, – я совершенно неожиданно для себя получил предложение барона Толля принять участие в организуемой Академией наук под его командованием северной полярной экспедиции, в качестве гидролога этой экспедиции. Мне было предложено, кроме гидрологии, принять на себя еще и должность второго магнитолога...»

На все эти предложения Колчак ответил «да». Он всегда произносил это слово, когда ему предлагали поле деятельности, требующее отвагу и сулящее риск, неведомый исход, – будь то экспедиция на край земли, командование действующим флотом или верховенство в обреченном правительстве. И тогда, на рубеже веков, молодой офицер принял опасное предложение безумного смельчака как счастливейший дар судьбы. Идти туда, где не побывал еще ни один человек, на вершину планеты, пробиваться сквозь льды и снега на шхуне, на собаках, на лыжах – да есть ли еще более достойное для мужчин дело?

Для того чтобы подготовиться к штурму Северного полюса, лейтенант Колчак был направлен в Главную физическую обсерваторию. Три месяца упорного постижения геофизических таинств; затем стажировка в Норвегии у самого Фритьофа Нансена.

Наконец в июне 1900 года деревянная – немагнитная – шхуна «Заря» отправилась в свое опаснейшее предприятие. Россия еще не знала имен Седова, Русанова, Брусилова, но арктический мартиролог XX века вот-вот готов был открыться именем Толля... «Заря» уходила туда, где географию заменяли манящие мифы, вроде «Земли Санникова», а карты были столь белы, что на них не проступали еще даже такие архипелаги, как Северная Земля. Лавры Колумба и Магеллана брезжили первопроходцам нового столетия только там – в ледяных пустынях арктических морей. Никто не мог сказать, на сколько лет покидают они мир газет и телефонов, автомобилей и электричества, всего того, что зовется цивилизацией.

Еще не изобретено радио, и им не послать, если случится беда, зова о помощи. Да если б и могли они подать тревожную весть, кто и на чем смог бы прийти им на выручку? Каждый из них был обречен на смерть от обычного аппендицита, не говоря о цинге, тисках ледовых полей, белых медведях, лютой стуже и прочих напастях, грозящих мореплавателю в высоких широтах и поныне.

Александра Колчака провожала в это безнадежное плавание (деревянная шхуна не имела ледовых подкреплений) невеста – Софья Омирова, дочь действительного статского советника, председателя Казенной палаты Подольской губернии.

Уже зажглась, уже горела на его небосклоне старинная Прикол-звезда – Полярная, ведущая точно на север. Поморское ее название престранным образом вобрало в себя половину его фамилии. Потом и вовсе она станет частью его имени – Александр Васильевич Колчак-Полярный. А пока гидролог и второй магнитолог аккуратнейшим образом заполнял свои журналы у безлюдных берегов Таймыра, угрюмых скал Новосибирских островов. Первая зимовка во льдах – унылая, безрассветная и бесконечная, как вой пурги в обледеневших снастях. Потом вторая...

Льды не позволили «Заре» идти дальше на север, к Земле Беннетта, куда так стремился барон Толль. Потеряв всякую надежду пробиться к островам на шхуне, Толль решился идти туда пешком. Взяв в собой трех спутников и оставив склад продовольствия на Новосибирских островах, он навсегда исчез в снежной пустыне. Последним его распоряжением лейтенанту Колчаку было увести «Зарю» в устье Лены (запасы топлива на шхуне кончились), доставить в Петербург собранные материалы и коллекции и готовить новую экспедицию.

Колчак выполнил последнюю волю Толля. В декабре 1902 года он наконец выбрался из сибирских буранов в Петербург и сделал экстренный доклад в Академии наук о работе экспедиции и отчаянном положении барона Толля. Счет жизни, если барон со своими спутниками был еще жив, шел на сутки, в лучшем случае на недели. Впрочем, обмороженный докладчик уповал на лучшее: он очень надеялся, что вся группа, добравшись до Земли Беннетта, зазимовала там в снеговой хижине. Колчак просил Академию выделить ему средства для организации спасательной экспедиции, он уверял ученый совет, что доберется до Земли Беннетта не на шхуне, бессильной перед льдами, а по разводьям на легкой шлюпке, перетаскивая ее через перемычки между полями. Седовласые мужи науки смотрели на него как на мальчишку в лейтенантских погонах и толковали о том, что сподвижник Толля подвержен какой-то особой форме безумия – северомании, какой страдал, видимо, и сам барон, двинувшийся на лыжах в ледяной плен Арктики. Но запальчивость молодого офицера подкреплялась такой верой в успех дела, столько непреклонной воли сквозило в каждом его слове, что ученый совет сдался и предоставил ему полную свободу действий.

На следующий день, едва было получено разрешение, Колчак выехал в Архангельск. Там – шел уже январь 1903 года – он набрал себе шесть спутников – двух матросов и четырех мезенских добытчиков тюленей. С ними и отправился через Якутск и Верхоянск в стойбище, где ожидал с партией в 160 ездовых собак разворотливый сибирский промышленник Оленьин. На собаках добрались к устью Лены, где стояла «Заря» под командованием лейтенанта Матисена, Сняли с нее вельбот, поставили на нарты и протащили по льдам на Новосибирские острова. Надо ли говорить, что это был за поход?! Двигались в кромешной тьме, на морозе под сорок, да еще по торосистому льду. Уж на что привычные северные собаки, и те больше шести часов не выдерживали – падали в снег с высунутыми языками.

И все-таки они добрались до открытого моря! Оленьин с якутами и тунгусами остались на островах, а лейтенант Колчак с шестью гребцами вышел на малом вельботе в Благовещенский пролив.

Не могу себе этого представить: сорок два дня на шлюпке в Ледовитом океане. Шли то на веслах, то под парусом, если позволял ветер. Лавировали между льдинами и в туман, и в снежные заряды. Полтора месяца в не просыхающем от брызг и захлестов платье, без горячей пищи, на одних сухарях и консервах. Правда, были еще шоколад и водка. Но все же от простуды спасало весло – ломовая работа гребца.

Не было в истории полярных путешествий такого плавания.

6 августа 1903 года вельбот достиг Земли Беннетта – безжизненной скалистой суши, придавленной льдами. Она считалась неприступной с моря, эта навечно вымерзшая земля. Мыс, на котором высадилась отважная семерка, Колчак назвал Преображенским, ибо 6 августа был днем Преображения Господня.

Ничто не выдавало здесь следов Толля. Надо было идти в глубь этой гибельной суши. По счастью, наметанный глаз экспедиционера заметил гурий – рукотворную горку камней. В ней обнаружили бутылку с запиской Толля. Тетрадный листок давал лишь общий план Земли Беннетта, на котором была помечена стоянка отчаянных лыжников. Найдя ее, Колчак извлек из-под приметного камня все, что собрал и записал в своем последнем походе Толль. Барон сообщал в дневнике, что, израсходовав продовольствие, он принял отчаянное решение возвратиться пешком на Новосибирские острова, к главному складу провизии. Последняя запись была помечена концом ноября 1902 года. Оставалось только догадываться, что могла сделать с полуголодными людьми полярная ночь вкупе с сорокаградусной стужей.

Однако надо было знать точно: добрался ли Толль до Новосибирских островов? И Колчак повторил свой немыслимый путь в обратном направлении.

Склад провизии, к которому пробивался барон, оказался никем не тронутым. Спасатели сняли шапки и перекрестились. Прими, Господи, беспокойные души!

Выждав на острове Котельном, когда замерзнет море, Колчак в октябре перешел по льду на материк в Устьянск, не потеряв ни одного из своих верных помощников. Всех семей, целых и невредимых, встретил в Устьянске Оленьин, терпеливо дожидавшийся их всю осень. На его отдохнувших собаках два месяца добирались в Якутск, куда и прибыли в январе 1904 года.

Так закончились обе полярные экспедиции, на которые лейтенант Колчак положил без малого четыре года лучшей поры жизни.

Лишь спустя несколько лет он обобщит результаты полярных изысканий в печатном труде «Льды Карского и Сибирских морей». Это исследование и по сей пору считается классическим по гидрологии Ледовитого океана. В 1928 году американское Географическое общество переиздало его на английском языке под названием «Проблемы полярных изысканий».

Известна ли сегодня эта работа соотечественникам автора? Боюсь, что, как и все, что вышло из-под пера Колчака, она была заточена в какой-нибудь «спецхран». Но специалисты знают, должны знать, обязаны знать. Ибо это не досужие записки путешественника и не кабинетные построения теоретика, а живой опыт полярного морехода, положившего начало освоению великой магистрали вдоль северного фасада России. И те, кто шел за «Зарей» следом, – «Святой Фока» и «Святая Анна», ледоходы Вилькицкого «Таймыр» и «Вайгач», и те, кто в советское время осваивал стратегический Главсевморпуть, папанинцы и челюскинцы, вознесенные сталинской пропагандой так, что имена предшественников растаяли в тумане забвения, – все они так или иначе прибегали к ледовой лоции лейтенанта Колчака-Полярного.

За подвижническую научную деятельность Александру Колчаку была вручена весьма необычная в мирное время награда – орден Св. Владимира IV степени. Академия наук и Императорское географическое общество удостоили его большой золотой медали, которой до Колчака были награждены лишь двое исследователей.

Казалось, жизнь его определилась раз и навсегда – гидрографический факультет Морской академии, а там новые экспедиции, новые открытия, новые труды и новые награды.

Однако карьере моряка-ученого не суждено было стать...

Ленинград. Июль 1990 года

Школьная истина «атом неисчерпаем до бесконечности» воплотилась для меня в этом человеке – Андрее Леонидовиче Ларионове, с его загадочной профессией хранителя корабельного фонда, с его воистину неисчерпаемой родословной. Продолжатель старого моряцкого корня, женатый на племяннице «иртышского затворника», последнего гардемарина Пышнова, оказывается, он же еще – по материнской линии – приходится и племянником Федору Андреевичу Матисену, капитану толлевской шхуны «Заря», командиру Колчака по корабельной службе в тех самых первых арктических плаваниях XX века.

Рассказывая об этом, Ларионов не преминул извлечь один из бесчисленных своих фотоальбомов, и я увидел Колчака таким, каким вряд ли его кто видел, кроме товарищей по походу да обладателя редкого снимка. Попадись он в 30-е годы следователю НКВД, уж тот бы точно не заподозрил в этом чернобородом полярнике, облаченном в меховые одежды, будущего Верховного правителя России.

СТАРОЕ ФОТО.

В самом деле, трудно узнать в этом джеклондоновском первопроходце адмирала Колчака, знакомого нам лишь по последним, сибирским, снимкам – усталый адмирал с тяжелым взглядом Меховой капюшон обрамляет красивое мужественное лицо, взгляд отрешенный, мягкий, чуть мечтательный и все же твердый.

Еще не пролегли по тому лбу жесткие складки от тяжелых забот и жестоких решений, гнева и отчаяния; еще не обтянуты скулы злой тоской безнадежности, а свет в глазах не выели дымы Порт-Артура, Ирбена, Зонгулдака, Уфы и Омска...

На втором снимке Колчак сидит в кают-компании «Зари». И опять же никто не узнает в нем будущей грозы самураев микадо и рыцарей кайзера, янычар султана и комиссаров Предсовнаркома. Сидит некий молодой, коротко стриженный человек, врастающая черная борода полярный свитер. Современное лицо – ни дать ни взять молодой физик из Академгородка.

Кохтла-Ярве. 1991 год

Я приехал в «столицу сланца» на автобусе.

Здесь, на задворках городского тепличного хозяйства, в заброшенном родовом имении, в уголке старинного парка чернеет «осколок Земли Санникова» – гранитная глыба символической могилы барона Эдуарда Васильевича Толля.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА.

«Начальником была обещана премия тому, кто первый увидит Землю Санникова, – писал боцман толлевской “Зари” Никифор Бегичев. – Но увы! Сколько мы ни смотрели в трубы и бинокли, Земли Санникова не видели. Много раз меняли курс, но все бесполезно...»

Памятник боцману – в полный рост – стоит в заполярном Диксоне. Разнесло же их камни аж на тысячи верст по осту и норду!

Еще двое искателей загадочной земли – Колчак и Матисен – нашли последнюю гавань в Иркутске: один в 20-м – от расстрельной пули, другой в 21-м – от сыпного тифа

Символическая могила Толля, позвавшего обоих на поиск призрачной земли, сооружена в его бывшем баронском имении под Кохтла-Ярве. Увы, имение постигла участь большинства дворянских гнезд. Сохранились лишь каменные столбы с коваными петлями давно снятых ворот, могильные плиты, едва видимые из густой травы. Сохранился и уголок старинного усадебного парка

На боку каменной «льдины» выбито на русском и эстонском: «Известному русскому исследователю Эдуарду Толлю».

Чья-то добрая рука взрастила живой цветочный ковер у подножия.

Два капитана... Колчак и Матисен. Вот сюжет для будущего романиста

Родились они в одном городе – Петербурге. Учились в одних стенах, только в разных ротах: Колчак – в младшей, Матисен – в старшей. Один – православный, другой – лютеранин. В крови первого гуляли турецкие гены, характер второго умерялся шведской сдержанностью. Но обоих поманила брезжущая Земля Санникова. И оба пошли на край света за неистовым до самозабвения геологом-землепроходцем Эдуардом Васильевичем Толлем... Для молодых офицеров он один стал кумиром, вожатым, учителем. Они не клялись ему в верности, не произносили громких слов, но, когда он сгинул в ледяной пустыне, оба, не щадя жизни, искали его, как ищут самого родного человека, до конца своих дней чтили его имя, верили в его дело.

Шхуна «Заря» оказалась для них зарей жизни. Матисену выпало быть командиром судна, Колчаку – подчиненным. Они не очень ладили, друзья-соперники. Но они вытянули из флотской фуражки один и тот же жребий. И даже их семьи раскололись одинаково: оба оставили жен и сыновей.

Судьба ненадолго развела их в Русско-японскую войну. Колчак попал в Порт-Артур, а Матисен пошел в Цусиму старшим штурманом на крейсере «Жемчуг», оказавшись в Маниле в одной компании с Домерщиковым, Левицким, Старком, Политовским...

После Порт-Артура военная звезда Колчака пошла на взлет, все выше и выше... Матисену не случилось добыть в походе громкой славы.

Спустя пять лет жизнь снова свела их в одном рейсе. Они снова шли штурмовать Арктику: Колчак – командуя «Вайгачем», Матисен – «Таймыром». Восемь месяцев они вели свои ледоходы через три океана во Владивосток. И даже успели пройти в Берингов пролив, заглянуть за мыс Дежнева. Но открывать новые земли выпало другим. Как в бильярде: оба сделали великолепную подставку своим коллегам – Вилькицкому и Новопашенному – и надолго ушли в тень фортуны. Обоих отозвали в Петербург по служебной надобности.

Рухнули надежды взять у Арктики реванш за гибель Толля, снова помериться силами с Ледовитым океаном. В прах рассыпалась и ставка на большую науку. Надвигалась новая война, и заново предстояло начинать карьеру, но не ученых-гидрографов, а боевых офицеров. Оба стартовали примерно с одной и той же отметки: Матисен – командиром канонерской лодки «Уран», Колчак – командиром экипажа «Уссуриец». Закончили же войну на разных высотах: Колчак – вице-адмиралом, командующим Черноморским флотом, Матисен – каперангом, командиром вспомогательного крейсера «Млада», бывшей яхты княгини Шаховской.

В 18-м Колчак пошел спасать Россию с тем же безумным риском и с той же самоотверженностью, с какими спасал когда-то Толля. Он спасал корабль российской государственности по всем правилам борьбы за живучесть, латая его бреши полками, бригадами, дивизиями.

Матисен не пошел за Колчаком в Гражданскую. Гордость не позволила? Принял сторону большевиков. А честнее сказать, ушел от всякой политики в дебри Восточной Сибири, в гидрографические изыскания на все годы братоубийственной смуты.

Он ненадолго пережил своего соперника. Умер от сыпного тифа в том же Иркутске, где погиб и Колчак. Начальные и конечные точки их жизненных траекторий совпали географически точно, как совпадали некогда курсы «Вайгача» и «Таймыра».

Может быть, неспроста нет у них у обоих, вечных странников, вечных искателей, могил, пригвождающих бранные останки к одной географической точке. Как нет их у Седова, Русанова, Брусилова, всех, кто положил свои жизни на ледяной алтарь Арктики.

Они ушли в Ойкумену, в свою последнюю и вечную экспедицию. И строчки их современника – Бориса Пастернака – стали им общей эпитафией:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Когда в деревянный, занесенный снегами Якутск, где Колчак со товарищи отогревался и приходил в себя после ледовой эпопеи, докатилась весть о начале войны с Японией, молодой офицер немедленно отбил телеграмму в Академию наук с просьбой откомандировать его обратно на флот. Вторая депеша полетела в Главный морской штаб. Податель ее испрашивал разрешения отправиться из Якутска прямо в Порт-Артур. Смысл пространного ответа из Академии сводился к тому, что Колчак не будет отпущен во флот до тех пор, пока не представит подробный отчет о второй экспедиции. Садиться за письменный стол, когда в Порт-Артуре горят русские корабли и гибнут его однокашники?! Именно о невозможности такого положения телеграфировал он лично президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу. И тот его понял и разрешил отсрочку в отчете до окончания войны. Сдав Оленьину все собранные материалы и оставшиеся деньги для доставки в Петербург, Колчак начинает новый тысячеверстный путь из Якутска в Порт-Артур. До Иркутска добирался на перекладных лошадях. В Иркутске его ждал сюрприз, и какой: отец, несмотря на преклонные годы, приехал обнять сына – единственного! – быть может, в последний раз, да не один – добрался в глубь Сибири с Сонечкой Омировой.

Стоял март 1904 года. Грустным было это весеннее венчание в иркутском храме. Ведь наутро ждало новобрачных отнюдь не свадебное путешествие – разлука. Лейтенант Колчак уезжал в осажденный Порт-Артур прямо от свадебного стола.

Мог ли он подумать тогда, что смертная пуля поджидает его не на порт-артурских сопках, а здесь, в этом городе, где над ним только что держали венчальный венец? Пройдет всего шестнадцать лет, и ни японцы, ни турки, ни германцы – свои, россияне, такие же мужики, с какими он делил все тяготы полярной одиссеи, выведут его на берег Ангары и бездумно вскинут винтовки по взмаху чужой руки.

Но пока его ждало, как тогда говорили, новое поле чести – румбы Желтого моря.

* * *

В Порт-Артуре лейтенант Колчак предстал перед своим нечаянным покровителем – командующим флотом вице-адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым. Всегда чуравшийся высоких протекций, Александр на сей раз надеялся, что адмирал, весьма благоволивший к его научным работам, не откажет в назначении на миноносец, корабль, которому по роду службы чаще всего приходится встречаться с противником. Однако вид у соискателя активной боевой жизни был столь изможденным после северных передряг, что адмирал Макаров решил дать отчаянному лейтенанту передышку и назначил его на пятитрубный крейсер «Аскольд». На большом корабле быт более комфортен.

Это была их последняя встреча. Флагман порт-артурской эскадры налетел на японские мины... Гибель Макарова потрясла всех, даже японцев. Многие порт-артурцы приносили свои личные клятвы отомстить за адмирала – самую светлую голову русского флота. Дал такую клятву и лейтенант Колчак. И вскоре выполнил ее. Сразу же после трагического известия он подал рапорт о переводе на минный заградитель «Амур». Еще через какое-то время он наконец добился того, чего просил у Макарова, – назначения на миноносец, командиром на «Сердитый». Он рвался в бой. Но судьба сыграла злую шутку. Здоровье, подорванное полярными лишениями, не выдержало новых встрясок. Командир «Сердитого» слег в

госпиталь с двусторонним воспалением легких. Валяться на госпитальной койке с боевым ранением – куда ни шло, но с заурядной обывательской пневмонией?! Сознать это было невыносимо для офицерской чести, и лейтенант с лицом аскета, едва спал жар лихорадки, вернулся на мостик «Сердитого».

Порт-артурские миноносцы – кораблики довольно щуплые, в свежую погоду на приличном ходу волна порой перехлестывала через невысокий мостик. Эти соленые купели, а может и недавние ночевки во льдах, тоже не прошли даром. Острый суставной ревматизм чуть не вынудил его снова слечь. Но возвращаться в госпиталь отказался наотрез.

И словно в награду за стойкость, военное счастье ему улыбнулось. На подходах к Порт-Артуру «Сердитый» выставил группу мин. На них, точь-в-точь как «Петропавловск», наскочил и подрывался японский крейсер «Такасаго». Лейтенант Колчак сдержал свое обетное слово.

Спустя многие годы военные историки назовут четырех лучших адмиралов русского флота, итожа первое десятилетие XX века: адмирал Макаров, адмирал Эссен, адмирал Непенин и адмирал Колчак. Эта плеяда продолжит славное созвездие XIX века; Лазарев, Ушаков, Сенявин, Истомин, Нахимов, Корнилов...

За уничтожение крейсера Александр Колчак получил Георгиевское оружие.

К весне 1905 года судьбу Порт-Артура решал береговой фронт. Командир «Сердитого» покидает лишившийся боевой работы миноносец и уходит на береговую батарею морских орудий, вольно или невольно повторяя военную судьбу отца на Малаховом кургане. Даже взрывы неприятельских снарядов метят их одинаково: та же контузия и то же ранение в руку. Однако позицию не покинул и до самых последних залпов, в бинтах, командовал батареей. Лишь после падения крепости он позволил отвести себя в госпиталь. Оттуда в апреле был переправлен японцами в Нагасаки. Раненым пленным офицерам микадо разрешил возвращаться на Родину без каких бы то ни было обязательств. И вскоре Колчак отправляется в Петербург рейсовым пароходом через Канаду...

* * *

Гибель Колчака и разгром его армии – это отнюдь не личная трагедия адмирала как политика и полководца, не частная беда тех, кто шел под его знаменем. Это боль и кровь всего народа. Любая победа в Гражданской, внутриотечественной, кровнородственной войне – это пиррова победа.

Те мерзости и зверства, какими бурлит Гражданская война по ОБЕ стороны баррикад, были названы победителями лишь его именем – колчаковщиной. Да, белогвардейцы вырезали на спинах пленных совдеповцев красные звезды. Но и красноармейские командиры с не меньшей ненавистью забивали офицерам гвозди в плечи – по числу звездочек – или вспарывали красные лампасы вдоль бедер. С тем же основанием красный террор и кровавые перегибы ЧК можно было окрестить дзержинщиной, буденовщиной или свердловщиной.

Колчак не рвался к верховной власти. Она выпала ему как тяжкий крест, уклониться от которого ему не позволили ни долг гражданина, ни офицерская честь.

Все было так, как на первом корабле его мичманской юности, – крейсере «Рюрик». Когда в бою с превосходящей эскадрой погиб командир, его сменил старший офицер; когда пал и он, на его место заступил штурман; затем на мостик, превратившийся в аду боя в командирский эшафот, поднимались – по старшинству – остальные офицеры... По этому же праву и адмирал Колчак вступил в командование гибнущим кораблем русской государственности.

Ни личное бесстрашие, ни бескорыстность, ни верность канонам чести, ни флотоводческий дар, ни воинская твердость не только не помогли Колчаку как политическому вождю

и государственному мужу, но даже мешали там, где, его противники отнюдь не гнушались быть демагогами и интриганами, уверяя себя и других, что «революцию в белых перчатках не делают», что благородство, честь, совесть – предрассудки буржуазной морали, а нравственно лишь все то, что помогает удержать власть в ежовых рукавицах

Я думаю, что любой честный, прямой человек, неискушенный в политике, будь он и семи пядей во лбу, не смог бы обуздать, подчинить стихию, охватившую страну в девятнадцатом году.

Да, он не был новичком в Сибири. Адмирал хорошо знал ее стужи, льды и ветры, но мог ли он знать (да и кто мог?) многоплеменный народ этого полуcontinента? Мог ли он разобраться в том политическом циклоне, который вихрился вокруг него: рвавшие домой и готовые заплатить за это любую цену чехословацкие полки, дальневосточная партизанщина в тылу, интриги японцев, своекорыстие англичан, бунты в собственных рядах, спровоцированные эсерами, бессилие, чванство, предательство ближайших помощников...

«Несомненно, очень нервный, порывистый, но искренний человек; острые и неглупые глаза, – характеризует его мемуарист-современник, – в губах что-то горькое и странное; важности никакой, напротив – озабоченность, подавленность ответственностью и иногда бурный протест против происходящего...

... Жалко адмирала, когда ему приходится докладывать тяжелую и грозную правду: он то вспыскивает негодованием, гремит и требует действия, то как-то сереет и тухнет, то закипает и грозит всех расстрелять, то никнет и жалуется на отсутствие дельных людей, честных помощников...»

СТАРОЕ ФОТО.

1 мая 1919 года. Как не похож вице-адмирал в защитном френче на самого себя всего лишь семнадцатилетней давности. Лицо, изуродованное резкими складками. Если нанести их на бумагу – прочтется иероглиф безмерной душевной и физической усталости, но готовности нести свой крест до конца.

Не сверхгерой, не аскет, не фанатик Человек, который вдруг увидел в стеклянном оке фотообъектива черный зрачок так скоро наставленного ствола. Горестно ужаснулся судьбе, но не отвел глаз, не склонил головы.

Впрочем, если верить его возлюбленной – Анне Васильевне Тимиревой, «ни одна фотография не передает его характер. Его лицо отражало все оттенки мысли и чувства, в хорошие минуты оно словно светилось внутренним светом и тогда было прекрасно. Прекрасна была и его улыбка...

...Он был человеком очень сильного личного обаяния. Я не говорю о себе, но его любили и офицеры, и матросы, которые говорили: “Ох и строгий у нас адмирал! Нам-то еще ничего, а вот бедные офицеры!”»

Что бы там ни говорили о причинах краха Белого движения, но корень зла уходит в старинную русскую беду – распрю. Междоусобная рознь земель, удельная гордыня вождей, генералов, атаманов, несогласие партий и партиек – все это, помноженное на интриги и коварство союзников, весьма и весьма поспособствовало военному поражению.

И еще одна наша застарелая беда: равнодушие русского человека к тому, кто там на престоле, – варяг ли, эллин, иудей. До Бога высоко, до царя далеко, и каждая сосна своему бору шумит.

Вековая отстраненность от учреждения власти, заведомая подневольность любой власти (ибо всякая власть от Бога) рано или поздно заставляют доведенного до отчаяния мужика взяться за топор и вилы. Его политическая активность вспышечна и потому разрушительна, ибо культура политического созидания, как и контроль за властями предрежащими, где не

привита, а где жестоко вытравлена. Вот и в 17-м, и в 18-м российскому крестьянству – главному телу народа – все равно было, кто там правил бал в Питере – «большаки» ли, эсеры, кадеты... «Нам один пес, лишь бы яйца нес, а мы бы ели да похваливали!»

Потом спохватятся, когда на двор придут и хлеб отнимут, да так почистят, как и татары не грабили. Поднимутся то тут, то там – да поздно.

В своем прекрасном романе об адмирале Владимир Максимов попытался взглянуть на Гражданскую войну глазами Колчака:

«Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все, попадающееся на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеют значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно.

Казалось, каким это сверхъестественным способом бывшие подпрапорщики, ученики аптекарей из черты оседлости, сельские ветеринары, недоучившиеся фельдшеры и недавние семинаристы выигрывают бои и сражения у вышколенных в академиях и на войне, прославленных боевых генералов?

Ответ здесь напрашивается сам по себе: к счастью для новоиспеченных полководцев, они должны были обладать одним-единственным качеством – умением бежать впереди этой лавины, не оглядываясь, чтобы не быть раздавленным или поглощенным ею».

Еще надо в расчет взять и то, что все эти аптекарские ученики и недоучившиеся фельдшеры охотно и твердо усвоили подленькие нравы налетчиков, лихо «грабивших награбленное».

И если в Белом стане последнюю черту человеческого озверения мешали переступить остатки офицерской чести, православной веры или дворянского приличия, то в красном без колебаний приняли «игру без правил», смердяковский постулат воинствующего безбожия: «Все дозволено!»

И не символично ли, что против адмирала Колчака выступил большевик, взявший имя героя, рванувшего к своему благу с топором в руках, – Родиона Раскольникова Юный большевик Ильин, уверовавший, как и его кумир, что именно ему дозволено все, поступил в гардемариинские классы вовсе не из-за любви к морям или ради мечты достичь полюса, а для того лишь, чтобы спасти себя от фронта

На революционной мутной волне мичман Ильин-Раскольников достиг в иерархии своего клана адмиральского ранга, даже превзойдя по служебной лестнице будущего противника – адмирала Колчака. И если Колчаку в 17-м не хватило «революционной гибкости» отдать почетное оружие, ставя на одну чашу весов честь, на другую – жизнь, то «первый морской лорд советского адмиралтейства», свободный от «буржуазных предрассудков», в 19-м, спасая свою жизнь, велел спустить красный флаг перед английскими шлюпками, окружившими его севший на камни флагманский корабль. И кто потом из его соратников поставил в упрек «морскому лорду», что ему выпала печальная слава первым в советском флоте спустить флаг перед неприятелем?

Честь флота, доблесть флагмана – право, какое смешное донкихотство перед всесветным пожаром «мировой революции»!

Нетрудно представить, чем бы закончился поединок между Родионом Раскольниковым и князем Мышкиным, сведи их не читательское воображение, а жизнь. Но жизнь и свела – в Предуралье... Как ни непредставим адмирал Колчак в облике князя Мышкина, но все же их роднит один и тот же идеализм. И насколько адмирал не дотягивает до героя Достоевского, настолько Ильин-Раскольников превосходит в масштабах вседозволенности своего литературного предтечу.

В ночь перед расстрелом Александр Васильевич Колчак не спал. У него было время подвести итоговую черту. Сорок шесть лет... Год его жизни вполне мог считаться и за два... Было все, что только может пожелать себе человек: и подвиги, и слава, и прекрасные женщины, диковинные города и экзотические страны, военное счастье и отцовские радости. У него не было причин цепляться за жизнь. Но разве может человек бестрепетно расстаться с такой жизнью, которую осенила счастливая звезда?!

* * *

Семен Чудновский: «...Колчак и находившийся тоже в тюрьме министр Пепеляев были выведены на холм на окраине города, на берегу Ангары Колчак стоял спокойный, стройный, прямо смотрел на нас Он пожелал выкурить последнюю папиросу и бросил свой портсигар в подарок правофланговому нашего взвода. Рядом с ним Пепеляев, короткий, тучный, смертельно бледный, стоял с закрытыми глазами и имел вид живого трупа. Наши товарищи выпустили два залпа, и все было кончено. Трупы спустили в прорубь под лед Ангары...»

Тело его, как и подобает моряку, приняла вода. Сибирь, которой он отдал лучшие годы молодости, отвагу и жар души, подарила ему ледяной саркофаг. Полярная Прикол-звезда, как и заклинал он под гитарные струны, горит, сияет над его безвестной могилой.

В 1903 году лейтенант Колчак, обследуя Землю Беннетта, провалился под лед. Он потерял сознание от холодового шока и был вытащен боцманом Бегичевым.

В 1921 году адмирал Колчак, точнее, его тело с расстрельной пулей в сердце ушло под лед Ангары.

Трагический парафраз судьбы?

Говорят, когда Сталин прочитал протоколы допросов Колчака, он крепко выругался: «Какого человека расстреляли, сволочи! Нам так не хватает честных и порядочных людей!»

Глава одиннадцатая «Княжна»

В иркутской тюрьме она была преисполнена такого достоинства и благородства, готовая не на словах, а на деле умереть рядом с возлюбленным, была так величава и красива, что убийцы ее гражданского мужа невольно признали и прозвали ее «княжной». И даже в своих мемуарах писали – «княжна Тимирева». А она была – казачка. Не станичная – из интеллигентной семьи превосходного музыканта Василия Ивановича Сафонова, директора Московской консерватории.

Москва. Январь 1970 года

Не могу простить себе, что не догадался разыскать эту женщину. Ведь жили в одном городе, по одним улицам ходили, быть может, в одном метровагоне рядом сидели. Но...

Радуюсь за тех, кто посмел прийти к ней, расспросить, записать. Пожалуй, в большей мере это удалось алтайскому (!) энтузиасту-исследователю Георгию Васильевичу Егорову.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА:

«Я приехал к ней на Плющиху ранее условленного часа Долго ходил около ее дома, заглянул во все близрасположенные магазины, чтобы скоротать время. Я волновался...

Ровно – минута в минуту – в условленное время я нажал кнопку звонка у двери на первом этаже.

Дверь открыла старуха. Нет, не немощная, не дряхлая. Но седая. Вся седая. Я представился. Она отступила от двери вглубь прихожей на один шаг. Не больше. Этим самым приглашая меня пройти. Тоже на один шаг. Не больше – лишь переступить порог. И тут она меня предупредила (голос у нее прокуренный, хриплый):

– Имейте в виду, я советскую власть не люблю...

Сейчас, когда всем все дозволено, трудно представить мое состояние, когда я услышал такие слова. Я пробормотал что-то невнятное, что-то наподобие того, что, дескать, дело ваше личное, вы можете то или другое... Словом, сам не совсем понял, что сказал.

Анна Васильевна молча показала, куда повесить пальто. Провела меня в довольно большую комнату, сплошь заставленную старой мебелью, старыми вещами – чем-то старым, массивным. И сама она села в старое массивное кресло из темного дерева с высокой спинкой. Достала длинный, с кабинетную авторучку, мундштук, вставила в него дешевую (типа “Астры” или “Примы”) сигарету. Закурила. Мундштук держала всей пятерней в ладони, устремив дымящую сигарету вперед.

Она не была, как принято говорить, подчеркнуто любезной. Если не сказать больше. Мелькнула мысль: ничего, стерплю. Не каждый день соприкасаюсь с историей, тем более живой историей. Не стесняясь, рассматривал я комнату; спрашивал, с кем она живет, и как вообще у нее прошла жизнь после Гражданской войны. Она отвечала отрывисто, не вдаваясь в подробности: после Гражданской войны тридцать семь лет провела в советских лагерях. За что – не знает. При Дзержинском, говорит, ее время от времени выпускали, потом снова забирали, а при Ежове и при Берии уже не выпускали; сидела, что называется, безвылазно.

Эта первая наша встреча была непродолжительной и беспредметной: говорили обо всем и ни о чем. Уходя, я испросил разрешения зайти к ней еще и еще – в общем, заходить к ней, пока буду в Москве. Она не очень охотно, но все-таки согласилась, дала разрешение посещать ее. Меня это устраивало, тем более что жила она совсем недалеко от архивов, в которых я тогда копался, изучая материалы Гражданской войны.

Я заходил к Анне Васильевне время от времени. Мы теперь уж беседовали как старые добрые знакомые. Иногда она угощала меня чаем. Говорила гораздо охотнее о своем детстве, об отце, который был другом великого Бородина. Однажды я спросил, что это за бюст стоит под потолком на шифоньере, не Колчак ли. (Бюст был черный, наполовину чем-то прикрыт.) Нет, говорит, это не Александр Васильевич (за все наши встречи в ту зиму при разговорах она, по-моему, ни разу не назвала Колчака по фамилии, называла только по имени и отчеству), это, говорит, не Александр Васильевич, а бюст моего отца. Он был в течение пятнадцати лет директором Московской консерватории, там, говорит, до сих пор в вестибюле (или в фойе) висит мемориальная доска, на которой отец назван “известным русским музыковедом и музыкальным просветителем”.

– За него я и получаю сейчас пенсию. На нее и живу... Был ее отец довольно долго и директором Нью-Йоркской консерватории.

А однажды – кажется, на следующий год, в очередной свой приезд в Москву, – я увидел у нее в простенке фотопортрет мужчины средних лет с шотландской бородой.

– У вас раньше его не было. Кто это? – спросил я.

– Это Солженицын! – Она произнесла с гордостью и даже торжеством.

А Солженицына тогда только что (так писали в то время) “выдворили” за пределы страны, лишив гражданства, и хранить его портреты было, конечно, небезопасно. Но ей, как видно, терять было нечего, она шла на конфронтацию открыто.

Полжизни она провела в советских лагерях, в том числе и среди уголовников. И тем не менее за тридцать семь лет к ней не пристало ни одного лагерного слова – речь ее интеллигентна, во всех манерах чувствовалось блестящее дворянское воспитание. Единственное, что омрачало общее впечатление, – она курила дешевые сигареты. Курила беспрестанно и через очень длинный, примитивно-простого изготовления мундштук. И вообще одета она была бедно. Очень бедно. Но рассуждала – рассуждала самобытно. Рассуждала по-сегодняшнему, по-перестроечному – критически. И очень смело. Казалось, просидев тридцать семь лет, можно потерять не только смелость, потерять личность. А она сохранила себя. Она была в курсе культурной жизни если уж не страны, то, во всяком случае, столицы – это точно. Голова у нее была светлая. Еще в начале нашего знакомства она мне заявила, что о политике говорить не будет – политика ее не касается. Политика – не ее дело. В политику она не вмешивалась и тогда, в Омске, в 1918 – 1919-м. Мы в основном говорили, если можно так выразиться, о корнях нашей сегодняшней культуры – о людях, ее знакомых, давно покинувших Родину, покинувших Россию, но оставивших о себе хорошую память. Разговоры шли об интеллигенции, эмигрировавшей за границу. Она преимущественно говорила о театре, много о театре – она большой театрал. Даже сейчас, говорит, в своем возрасте и в своем положении, не пропускает новые спектакли ни во МХАТе, ни в “Ермоловой”. Еще тогда, за двадцать лет до нашей перестройки, очень нелестно (как и многие сейчас) отзывалась о М. Горьком. В лагере ее несколько раз навещала Пешкова, первая жена Горького. Они много лет переписывались, дружили...

Анна Васильевна рассказывала:

– В начале февраля 1917 года мой муж (С.Н. Тимирев. – Н.Ч.) получил отпуск, и мы собирались поехать в Петроград – то есть мой муж, я и мой сын с няней. Но в поезд сесть нам не удалось: с фронта лавиной шли дезертиры, вагоны забиты, солдаты на крыше. Мы вернулись домой и пошли к вдове адмирала Трухачева, жившей в том же доме, этажом ниже. У нее сидел командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Иванович Непенин. Мы были с ним довольно хорошо знакомы. Видя мое огорчение, он сказал: “В чем дело? Завтра в Гельсингфорс идет ледокол «Ермак», через четыре часа будет там, а оттуда до Петрограда поездом просто”. Так мы и сделали.

Уже плоховато было в Финляндии с продовольствием, мы накупили в Ревеле всяких колбас и сели на ледокол. Накануне отъезда я получила в день своих именин от Александра Васильевича корзину ландышей – он заказал их по телеграфу. Мне было жалко их оставлять, я срезала все и положила в чемодан. Мороз был лютый, лед весь в торосах, ледокол одолевал их с трудом, и вместо четырех часов мы шли больше двенадцати. Ехало много женщин, жен офицеров с детьми. Многие ничего с собой не взяли – есть нечего. Так мы с собой ничего и не привезли.

А в Гельсингфорсе знали, что я еду, на пристани нас встречали – в Морском собрании был какой-то вечер. Когда я открыла чемодан, чтобы переодеться, оказалось, что все мои ландыши замерзли. Это был последний вечер перед революцией.

Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, – с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих чувств. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, – сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи – это ли не уважение к человеку?

Мне он был учителем жизни, и основные его пожелания: “Ничто не дается даром, за все надо платить – и не уклоняться от уплаты” и “Если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу – тогда не так страшно” – были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.

И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке – нам давали каждый день это свидание, – и он говорит:

– Я думаю – за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас – я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром

Что из того, что полвека прошло, никогда я не смогу примириться с тем, что произошло потом. О, Господи, пережить это, и сердце на куски не разорвалось.

И ему и мне было трудно – черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что, даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции, в то время как люди, шедшие за ним, гибли за это, и поэтому последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: “Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось – только бы нам не расставаться”.

Я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. Луна в окне, черная решетка на полу от луны в ту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверно, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро – тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

– Скажите, он расстрелян? – И он посмел сказать мне нет.

– Его увезли, даю вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал».

СТАРОЕ ФОТО.

Анна Васильевна Тимирева. 1916 год. Мягкий взгляд влюбленной женщины. Уже влюблена. В него. Еще все впереди. Грустна и красива. Мила и добра. Скорее всего, именно эта карточка уже подарена ему, уже стоит в рамочке на его рабочем столе во флагманской каюте «Геorgia Победоносца».

Фото 1969 года. Она? Да, это она. Открываешь – и тебя отбрасывает ее взгляд... Неженская твердь в глазах и жестких складках. Печально, но твердо сжатые губы. Как схож их горестный рисунок – у Анны и Александра.

Горькая мудрость в изломе бровей. Нет ни укора, ни жадобы в ее очах. Она не видит фотографа. Она смотрит в себя. Взгляд человека, который вдруг обернулся и ему открылась вся его жизнь – разом. И какая жизнь!

Галоп по степи на любимом коне и салоны музыкального Олимпа России, балы в Морских собраниях и тревоги военной Балтики, лепестки сакуры в фонтанах города храмов – Киото и лазаретные вши под бинтами раненых, теплушки и бараки, коммуналки и камеры, чужие углы и снова бараки, бараки, бараки.

Расстрелян любимый, расстрелян сын, развеяно в лагерную пыль полжизни. В конце пути полунищенское одиночество в коммуналке.

Старое фото – как застывшее зеркало. Разве посмеет кто назвать эту семидесятипятилетнюю женщину старухой? Красиво взвихренные волосы. Эдакие седые протуберанцы, раскинутые током мощной энергии. А может, разбросанные ледяными ветрами века, от которых она не прятала лица. Анна Васильевна Тимирева – островок достоинства и веры в архипелаге ей подобных островков, которые не смог размыть и проглотить кровавый ГУЛАГ.

«Княжна» Анна Тимирева и «королевна» Ксения Темп, Екатерина Домерщикова и Нина Жохова. О, женщины серебряного века!..

Глава двенадцатая Последний из Транзе

Таллин. Зима 1990 года

Люблю этот город с той давней поры, когда студентом прикатил на зимние каникулы с рублем в кармане и тихо обмер, выйдя на заснеженную Ратушную площадь...

Лет пять назад я снова зачастил в Таллин на «цусимские дни», которые, благодаря стараниям «неформалов» из клуба морской старины «Штадт Ревель», отмечаются здесь торжественно и душевно.

Глава клуба, бывший боцман водолазного судна Владимир Владимирович Верзунов, сын донского казака и Ладужской эстонки, привел меня на старинное русское кладбище и зажег свечу на могиле Игоря Северянина. Потом прочитал нараспев глуховатым простуженным голосом:

Упорно грезится мне Ревель
И старый парк Катеринталь...
...И лабиринты узких улиц,
И вид на море из домов,
И вкус холодных, скользких устриц,
И мудрость северных умов.

Едва он произнес две строчки, как я вздрогнул, будто услышал пароль.

Берлин. Фронау. Буддистский храм. Сеанс медитации. Новопашенный, Транзе... И я задал ему этот вопрос, которому он ничуть не удивился:

– Не знакома ли вам фамилия Транзе?

– Знакома. Братья Транзе дружили с Игорем Северяниным. Они жили неподалеку от Тойли, дачи Северянина... Между прочим, я учился в мореходке вместе с Лео Транзе, внуком младшего из братьев этого семейства – Леонида Транзе.

Так замкнулся этот круг! Северянинской строкой... Берлин – Ревель – Таллин... Новопашенный – Северянин – Транзе – Верзунов...

– Кстати, жив еще и сам Леонид Александрович Транзе. Ему за девяносто. Он тоже, как и Александр, Владимир и Николай, учился в Морском корпусе... Но... попал в «ленинский выпуск» восемнадцатого года. И живет он не так далеко – в Локсе.

На другой день мы ехали в небольшой приморский городок, что в полсотне километров от Таллина. Я до самого конца не верил в возможность такой встречи... Верзунов только усмехался в свои пышные усы.

Локса! Сосновый рай почти курортного городка. Частные домики, ухоженные на европейский манер.

Коттеджик с мансардой, весь в хозяйственных пристройках. Нас встречают хозяева, давние знакомые Верзунова, и, подготовив старца, ведут нас к нему по крутой деревянной лестнице.

Волнуюсь. Последний представитель дореволюционного поколения некогда большого и славного морского рода! Последний из гардемарин Морского корпуса.

Не доучился год до производства в офицеры. В начале 18-го их всех выпустили на все четыре стороны. «Ленинский выпуск»...

Комнатка в мансарде. Сухонький старичок с лицом доброго гнома. В зеленом вельветовом картузе с козырьком, прикрывающим больные глаза от лишнего света. Темно-прозрачная кожа глиняно-холодных, тяжелых рук.

Он был подобен водолазу-глубоководнику, который ушел на запредельную глубину времени – из своего девятнадцатого века в конец двадцатого... Эх его обжала толща времени! У него не осталось ровесников. Чужое время, незнакомые лица далеких потомков.

Но ведь зачем-то он спустился в эту немыслимую глубь? Одряхлевший гонец, какую весть ты принес нам от своих братьев, от своего серебряного века, из-за гребней всех укативших в историю войн, революций, кризисов?

В этой мансардной комнатке он живет безвыездно уже много лет. Я оглядываю ее, как осматривают батискаф, совершивший рекордное погружение.

Икона Спаса в красном углу. Сварная печь-плита вроде «буржуйки». Часы-кукушка в резном футляре. Тарелка с россыпью таблеток валидола Стоечка на колесиках – для передвижений по комнате. Посох-конь...

Леонид Александрович Транзе-4-й. Он очень рад нашему визиту. Семьдесят лет никто не называл ему этих имен – Новопашенный, Жохов, Вилькицкий... Они звучат для него как пароль. Он готов рассказать нам то, чего никому не рассказывал. Он улыбается, смеется, вытирает слезы... Он с трудом выговаривает слова, но это пока просто от волнения. Он еще разговорится. У него дальнзоркая память. Он помнит вопросы на экзамене по военно-морской географии, которые задавал ему преподаватель, брат лейтенанта Шмидта, Владимир Петрович. Он помнит прозвища воспитателей и гардемаринские песенки. Но порой забывает имена внуков и правнуков.

– Я «холодный моряк», – говорит он о себе, невесело посмеиваясь. Конечно же, мечтал о дальних морских плаваниях (какие совершал отец), о морских сражениях (в каких участвовал старший брат Александр), о новых открытиях (какие совершал брат Николай), а выпало всю жизнь работать на земле – добывал диамид, рубил сланец, возделывал виноградник во Франции... Правда, рыбачил, жил в Тойле, где стоял дом Игоря Северянина, хорошо знал поэта. И старик прочитал на память его строчки: «Тринадцать раз цвела сирень, тринадцать весен отшумело...»

Однажды весной рыбацкий бот с Леонидом Транзе и его товарищем затерло льдами и унесло в море. Они выбирались несколько суток, обморозились. Кожа с рук Транзе слезла, как перчатки, и этот жутковатый «сувенир» взял на память лечивший его врач. А друг не выжил. Сначала ему отняли ноги. Уже умирая, он просил Леонида жениться на его красавице-жене. На роду, что ли, им, Транзе, было написано быть душеприказчиками умирающих друзей? Как Николай исполнил последнее желание Жохова, так и Леонид выполнил волю друга – взял в жены его вдову. И над могилой товарища прочел эпитафию Жохова, которую и сейчас повторил нам с Верзуновым без запинки, как некий завет, принятый от брата;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.